DK 173
.C 54

Н. Д. ЧЕЧУЛИН
ЕКАТЕРИНА П
В БОРЬБЕ ЗА ПРЕСТОЛ
ПО НОВЫМ
МАТЕРИАЛАМ
ИЗДАТЕЛЬСТ
„ВРЕМ
ЛЕНИН

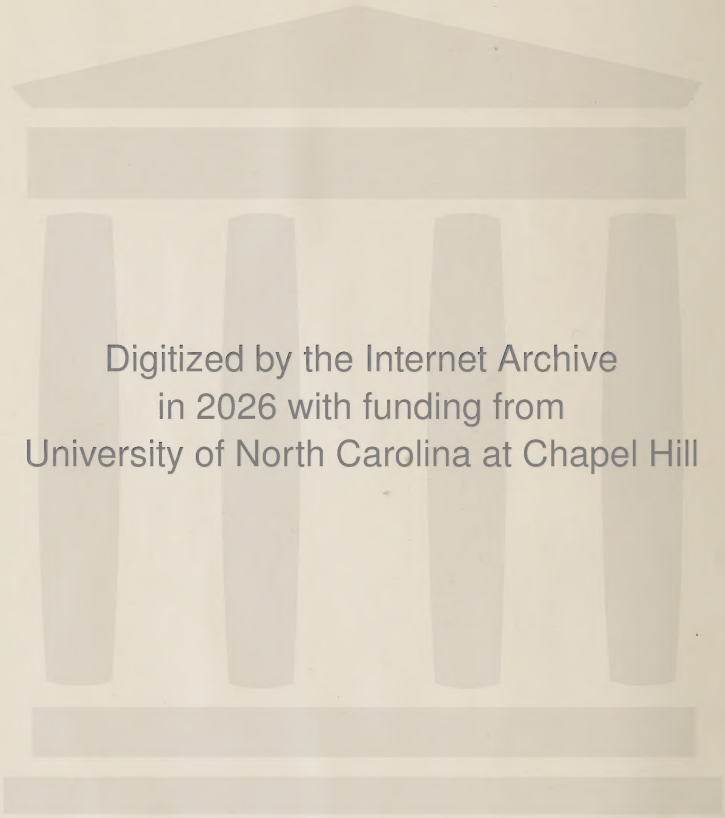
THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

DK 173
.C54

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
Form No. 513			


Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/ekaterinaiivborb00chec

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВРЕМЯ

DK173
.C54

Н. Д. ЧЕЧУЛИН

EKATERINA VTORAIA

ЕКАТЕРИНА II

В БОРЬБЕ ЗА ПРЕСТОЛ

ПО НОВЫМ
МАТЕРИАЛАМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»
ЛЕНИНГРАД
1924

Обложка работы
В. М. Ходасевич

Ленинградгублит № 352. — 2000 экз.
Российская Государственная Академическая Типография.

В жизни Екатерины II рядом с событиями крупного исторического значения есть моменты, представляющие большой психологический интерес.

Весьма важным, можно сказать — поворотным пунктом в истории Екатерины, как женщины и как государыни, были последние годы царствования Елизаветы Петровны. Долго многие эпизоды этого времени были покрыты тайною, казалось, непроницаемою. Единственным источником, который давал о них сведения, были записки Екатерины, а она сумела многое обойти молчанием так искусно, что при полной, повидимому, искренности рассказа, кое-что весьма существенное скрыла.

Но теперь завеса, до сих пор покрывавшая это время, совсем снята. С тех пор, как опубликована переписка Екатерины с английским послом Вильямсом и напечатаны мемуары Понятовского, — стали известны показания чуть не всех лиц, игравших в это время важную роль в жизни Екатерины. С большою ясностью обрисовалась картина тогдашних придворных отношений, раскрылась и

947.06
C 361₂C

глубокая душевная драма, пережитая в это время Екатериною. Изучение событий этого времени представляет большой интерес не только для биографии Екатерины, но и для истории вообще: среди многих мелочей чисто личного характера, наталкиваясь на кое-что более скандалезное, чем обыкновенные объекты серьезного исторического изучения, исследователь находит и такие указания, которые ведут к правильной оценке явлений и фактов, имеющих более широкое, чисто историческое значение.

ЕКАТЕРИНА И ПОНЯТОВСКИЙ

14 февраля 1758 г. происходило заседание конференции при высочайшем дворе. Канцлер граф Бестужев-Рюмин не явился, а прислал сказать, что болен и быть не может. Именем императрицы ему послано было повеление придти на заседание. Он повиновался, но едва вошел в конференц-залу, как был арестован и под конвоем отведен в свой дом. Тогда же были взяты под стражу И. П. Елагин, В. Е. Ададуров и Бернарди; первый из них ранее был адъютантом графа А. К. Разумовского, и был дружен с графом Понятовским, второй когда-то учил великую княгиню Екатерину Алексеевну русскому языку, а последнее время служил при графе Бестужеве-Рюмине и пользовался его доверием; Бернарди был бриллиантщик-итальянец, вхожий во все аристократические дома.

На другой день утром узнала об этом из коротенькой записки Понятовского великая княгиня и—по ее собственному выражению—«так и остолбенела». «С ножем в сердце» пошла она к обедне; ей показалось, что бо́льшая часть тех, кого она видела, имели такую же «вытянутую физиономию», как и она сама; никто, однако, ни о чем особенном с нею не заговаривал.

Вечером того же дня, на балу по поводу свадьбы одной из фрейлин, Екатерина перекинулась несколькими сло-

вами с князем Н. Ю. Трубецким и с графом А. Б. Бутурлиным.

— Что за прелесть! — сказала она Трубецкому, как бы разглядывая ленты на его жезле маршала свадьбы, и вполголоса прибавила: нашли ли больше преступлений, чем преступников, или больше преступников, чем преступлений?

— Мы исполняем, что нам приказано, так же тихо отвечал Трубецкой; преступлений еще ищут; пока поиски неудачны.

В таком же духе говорил и Бутурлин.

На следующее утро Штамбке, голштинский министр, докладывая, как всегда, Екатерине по делам герцогства, сказал, что получил от Бестужева записку, с просьбою передать великой княгине, что он успел все, что нужно, сжечь. Это сообщение несколько успокоило великую княгиню.

Двумя манифестами, 27 февраля и 5 апреля 1758 г., было объявлено о винах и наказании Бестужева: он лишался должности, чинов, орденов и ссылался в свое имение. Вскоре был выслан Штамбке, уже ранее уволенный, по требованию императрицы от должности голштинского министра, а Понятовскому, посланнику короля польского, приказано было просить о своем отозвании.

«Как только я узнала о высылке Штамбке и об отозвании Понятовского, я уже не ожидала ничего хорошего», записала Екатерина. Она решилась тогда просить императрицу об объяснении с нею, и императрица, в апреле и мае, имела с нею две продолжительные беседы; этим, как будто, дело для Екатерины и кончилось.

В таком виде представляется этот эпизод по запискам Екатерины и по сохранившимся документам следственного дела о Бестужеве, и остается неясным. В манифесте о винах и наказании Бестужева ничего особенно серьезного,

даже достаточно определенного, нет; там говорится в общих выражениях, что Бестужев делал иногда распоряжения, противные высочайшему соизволению, не исполнял иногда высочайших повелений и сеял раздор между императрицею и ее любезнейшим племянником с супругою. Но это не такие преступления, чтобы за них в царствование, вообще не отличавшееся жестокостью и крутыми мерами, первое лицо в государстве внезапно схватить, разжаловать и сослать, да в ссылку же отправить и еще несколько человек: Елагин был выслан в свою казанскую деревню, Ададуров — в Оренбург, Бернарди — в Казань; удалена была и ближайшая к Екатерине из прислуживавших ей женщин — Владиславлева. И что так встревожило Екатерину при известии о высылке Штамбке и Понятовского — более даже, чем при аресте Бестужева?

Тут какая-то тайна; внимательное исследование раскрывает ее; но для этого надо начать рассказ с событий, совершившихся за три года до того.

На празднике 29 июня 1755 г. появился при русском дворе граф Станислав Август Понятовский; он находился в свите только что прибывшего в Петербург нового английского посла Вильямса, как один из «кавалеров посольства», которые тогда состояли при посольствах не для какой-нибудь работы, а для придания им блеска. По всей его дальнейшей деятельности несомненно, что это был человек не крупный; но он был молод, красив, изящен, хорошо по тому времени образован, весел и скромен. Он произвел впечатление в высшем петербургском обществе, на него обратила внимание и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Может быть, еще сама не сознавая — почему, она сама оживилась, стала веселее и милее, чем всегда; все, казалось ей, улыбалось; за ужином ее соседом был

Вильямс — и его видела она в том свете радостного чувства, которое в ней загоралось: Вильямс показался ей особенно милым и любезным, его разговор — особенно занимательным. Они говорили по поводу Понятовского; Екатерина рассказывала, как отец этого молодого человека боролся против Петра Великого, Вильямс говорил о своем спутнике и очень хвалил его. В тот же вечер в кругу придворных дам зашел разговор о графе Понятовском и о графе Лендорфе, тогда же впервые появившемся при дворе и тоже обратившем на себя внимание; Екатерина мимоходом бросила замечание, что из них двоих ей понравился больше молодой поляк...

Будущая знаменитая императрица переживала в это время тяжелую полосу жизни. Ей было 25 лет; она цвела молодостью, здоровьем и красотой; но душевный мир ее не был светел и ясен. Едва достигши 15 лет, она оказалась при чужом дворе и через год была обвенчена с наследником престола, по годам — тоже почти ребенком, как она сама, по духу же — далеко более слабым, чем она; она оказалась в полном одиночестве, без всякого руководительства, без какой-либо нравственной поддержки. В ее возрасте не для нее только, но и для всякой, сколько-нибудь не ничтожной натуры плохую компанию составляли глупые и вздорные женщины, которых определяли к ней в качестве дуэний, да несколько полуподруг, полуслужанок, из которых каждую немедленно удаляли, как только великая княгиня оказывала к ней какую-нибудь привязанность. Не только об учении или чтении, не было речи и ни о каком занятии, которое имело бы хотя вид серьезного, ни о какой благотворительности, ни о каком попечительстве; при дворе «игра и туалет заполняли день», «не было никакого разговора, все друг друга сердечно ненавидели, злословие заменяло ум и малейшее дельное слово почиталось чуть не за оскорбление величества», «образ мы-

слей был подлый и развратный» — так вспоминала об этом времени впоследствии сама Екатерина, нисколько не скрывая, что и она подчинялась общему духу и течению окружавшей ее жизни,

Великий князь был очень бедно наделен природою. Он оказался одним из тех людей, которые, не отставая в детстве от обычного среднего уровня, затем, достигши 16 — 18 лет, вдруг останавливаются в своем духовном развитии, а самоуверенность, желание проявлять свою волю, известную грубость чувств, свойственную многим в зрелом возрасте, не только сохраняют в степени не меньшей, чем обыкновенно, а приобретают в большей — именно потому, что не развивается у них достаточно, а остается бедною и узкою интеллектуальная жизнь. У великого князя Петра Федоровича все такие черты проявлялись в степени, граничащей с крайностью; он не был способен решительно ни к чему серьезному; получив образование совершенно ничтожное, он ничем серьезным и не интересовался; отсутствие всякой чуткости к духовной жизни других в нем положительно поражало. Года через 3 — 4 совместной жизни великий князь смотрел на великую княгиню всего больше как на человека, которому он может поверять свои увлечения то тою, то другою из придворных женщин, причем его избранницами оказывались наиболее некрасивые, чуть не уроды. Если духовною жизнью Екатерины вообще мало интересовались, то меньше всех интересовался этим ее супруг, — а вообще на великую княгиню смотрели прямо с оскорбительной точки зрения: в ней видели прежде всего, даже почти исключительно, мать будущего наследника, она была лишь средством продолжения императорского рода — это прямо было заявлено в сообщенной ей инструкции, данной гофмейстерине ее двора. Она должна была дать «пожеланную отрасль» — и все остальное касавшееся ее, не считалось важным, в расчет не принималось.

Девять лет у великокняжеской четы не было детей. Императрица сначала тревожилась, потом гневалась. Екатерине, еще почти девочке, говорили уже о таких вещах, высказывали такие подозрения, которые не могли бы не возмущать и не оскорблять ее глубоко, если бы не оставались для нее совершенно непонятными; нельзя не верить Екатерине, когда она сама это передает, так как когда наступило время, что при таких разговорах она только притворялась наивною, она этого в своих Записках не скрывает и не замалчивает, да и вообще не принимает на себя в них вида излишне строгой или даже просто скромной.

Наконец, вероятно с ведома императрицы, родственница ее Чоглокова, состоявшая тогда при молодом дворе, не намекнула, а прямо предложила Екатерине избрать одного из двух определенно указанных молодых людей.

В своем избраннике С. В. Салтыкове Екатерина скоро должна была разочароваться; она не нашла в нем ни искренности, ни благородства чувств; за блестящею внешностью не оказалось ничего, что могло бы удовлетворить сердце женщины, молодой и прекрасной, одаренной и душою, в которой таились, но пока лишь дремали, великие силы. Пустой красавец, Салтыков скоро стал невнимателен; он искал других побед и хвалился ими; это стало известно Екатерине и глубоко оскорбляло ее; впервые отдалась она чувству, и оно было обмануто; оставался рядом прежний, ничтожный супруг; когда от него родился у нее сын, его немедленно взяла для воспитания при себе императрица...

В таком то состоянии духа была Екатерина, когда встретилась с Понятовским; он был наделен многими любезными качествами; еще лучшими одарила его в своем воображении молодая женщина.

Замечание Екатерины о Понятовском, сказанное в первый же день их встречи, уловил Л. А. Нарышкин. Это был прирожденный буффон, часто очень остроумный,

иногда почти циничный, и всегда совершенно безразличный к нравственной стороне любого вопроса, собственно и понимавший то один вопрос: как исполнить то, чего хочется, придворный тип доброго малого — в том смысле, какой разъяснил за этим определением Толстой, сказавши, что «добрый малый», это значит, в сущности, величайший негодяй. Екатерине он был предан беззаветно, можно сказать — бессовестно. Второй из числа тех двух, на которых обращала внимание Екатерины Чоглокова, он стал теперь играть роль, которая и вообще то неблаговидна, а ему неприличествовала более, чем кому-либо другому, и если есть ему какое не оправдание, а извинение, то лишь в том, что он не руководствовался никаким расчетом, а действовал единственно по своей полной нравственной безразличности. В кругу Екатерины и ближайших к ней молодых женщин он говорил:

— Той из вас, которая будет лучше всех себя вести я предназначаю нечто, за что меня поблагодарят.

— Это было не сразу понятно, но от Нарышкина и не ожидали слышать что-либо серьезное, так все привыкли к его болтовне; временами заговаривал он прямо о Понятовском, стараясь представить его всегда в наилучшем свете.

После одного из его смешных и шутливых рассказов, великая княгиня, проходя на придворном балу мимо Понятовского, весело повторила ему какую-то его шутку, только что пересказанную Нарышкиным, и с милой улыбкой бросила фразу:

— Vous êtes peintre, à ce que je vois [1].

С Понятовским Нарышкин сблизился, бывал у него ежедневно, передавал ему, что о нем говорилось хорошего у Екатерины. О ней самой он отзывался восторженно; от

[1] Вы, как я вижу, художник.

него узнал Понятовский, что она вовсе не горда и не важничает, что она вовсе не поклонница Фридриха, а Понятовский считал себя ярым пруссофобом.

К концу лета Нарышкин заболел, и к Екатерине стали приходить от него шутливые записочки, в которых он просил то варенья, то чего-нибудь другого из лакомств, благодарил, когда получал просимое; Екатерина и сама видела, что они сочинены не им; иногда она на них, тоже в шутливом тоне, и отвечала. Секретарем Нарышкина в данном случае был, как Екатерина узнала, Понятовский. Наконец,— по словам Понятовского, — месяца через три после конца июня (по словам Екатерины осенью) — Понятовский рискнул послать Екатерине с Нарышкиным письмо уже от своего имени; на другой день Нарышкин же принес ответ.

— И я забыл, что есть Сибирь! говорит Понятовский, имевший ранее твердое намерение держаться с крайней осторожностью, с одной стороны потому, что знал об ужасах времени Анны Иоанновны, с другой — потому что слышал кое-что о Салтыкове, но не знал еще, что с ним уже разрыв.

Вскоре Нарышкин устроил так, что вечером Екатерина не по этикету, а тайком приехала в дом его матери, где он жил; там у его жены оказался и Понятовский.

«Вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе представить», вспоминала Екатерина.

Через несколько дней состоялся ответный визит: у Екатерины — тоже не запросто, а тайком — собрались Нарышкин с женой, может быть две его замужних сестры и Понятовский. А зимою Нарышкин завел Понятовского, совершенно для него неожиданно, во дворце в покои великой княгини; через несколько минут тут должен был пройти великий князь и не оставалось другого способа скрыть посетителя, как ввести его в комнату великой княгини.

Понятовский восторженно описывает великую княгиню.

Она была, говорит он, в том состоянии лучшей красоты, в каком бывает молодая женщина, после первого ребенка. У нее был прекрасный, свежий цвет лица, темные волосы, большие темные и выразительные глаза с длинными ресницами, слегка заостренный нос, рот и губы, которые так и звали на поцелуй: вся ее фигура, ее движения отличались благородством; у нее был прелестный голос, смех веселый, характер живой; ей были одинаково доступны и детские забавы и самые серьезные занятия.

«Такова была та», говорит Понятовский, «которая стала владычицей моей судьбы; все мое существо было посвящено ей — и гораздо глубже, чем это бывает обыкновенно, когда так говорят люди в том же положении, в каком был я. С нею впервые я узнал радости любви».

Понятовский говорит тут в выражениях, по понятиям XVIII в. очень скромных и проникнутых уважением, но в современном нам литературном языке неупотребительных. Он описывает с умилением далекого счастливого воспоминания и костюм великой княгини — «совершенно простое платье из белого сатина и легкий головной убор».

«Она совершенно не могла понять, как это случилось, что я в ее комнате; да и сам я часто спрашивал себя об этом, когда в дни придворных балов и приемов проходил через столько караулов, как могло случиться, что я, словно облаком окутанный, проник в такое помещение, на которое при публике я и взглянуть не мог».

«Так начался 1756 г.», говорит Екатерина в Записках, — и в переписке ее с Вильямсом декабрь 1755 г. называется как термин, важный в отношениях ее к Понятовскому.

Через Вильямса кое-что было открыто Бестужеву, и канцлер, с одной стороны, устроил так, что продолжено было дипломатическое поручение, с которым Салтыков находился в Гамбурге, с другой — сделал шаги, чтобы По-

нятовский получил в Петербурге официальное положение представителя польского короля.

В начале 1756 г. Екатерина, Понятовский, Нарышкин и обе сестры, а иногда, конечно, и не в полном составе этой компании, «часто видались и находили необыкновенное удовольствие в этих встречах украдкой». Не проходило недели, чтобы не было одной, двух, а то и трех встреч, то у того, то у другого, а если кто из компании бывал болен, то непременно у него и собирались. Иногда в театре, хотя бы они находились в разных ложах, а мужчины и в креслах, они по условным знакам мигом узнавали, у кого собраться, и никогда не случалось у них ошибки. Два раза пришлось великой княгине возвращаться домой пешком, «но это была просто прогулка», говорит Екатерина. Встречались и в загородных дворцах. Сам Понятовский признался как-то Бестужеву, что пять раз был в Ораниенбауме, и, коснувшись случайно этого в беседе с Вильямсом, Бестужев сказал:

— Он чертовски смел.

И Вильямс передал это Екатерине не как опасный признак возможной огласки, а как свидетельство, что Бестужев «опасается предприимчивого гения» Понятовского.

Весною 1756 г. Понятовский заболел ветреною оспою: он не мог нигде появляться, но у себя видел всех, кого любил. Больших подробностей нет, но довольно и сказанного. Добавить разве, что в это время Понятовский прочел Екатерине вслух тогдашнюю животрепещущую литературную новинку — «La pucelle d'Orléans» Вольтера; теперь немногие решатся читать эту вещь в обществе; но тогда смотрели иначе: Вильямс, опечаленный вестями об успехах французов, «испустил крик радости», когда Понятовский сказал ему, что у него в руках эта поэма, да и Понятовский сообщал это «как весть о победе».

Предстояло, однако, расстаться. Родные Понятовского

Великая княгиня Екатерина Алексеевна

Портрет работы G. Grooth

положительно требовали, чтоб он выступил на приближавшемся сейме; личное присутствие Понятовского в Варшаве было почти необходимо и для того, чтобы устроить ему официальное положение в Петербурге. Великая княгиня не без труда примирилась с мыслью о разлуке, и то только под условием, что Понятовский вернется вскоре и непременно, как польский посланник.

За несколько дней до отъезда Понятовский, испросив предварительно официальное разрешение, явился, в один день со шведским графом Горном, в Ораниенбаум откланяться великокняжеской чете. Гостей приняли очень любезно и удержали на два дня. Понятовский вспоминает, что был очень счастлив провести эти два дня в таком милом обществе, и вместе с тем, что за ними явно следили шпионы, которых императрица держала при малом дворе. Насколько действительны были их наблюдения, об этом можно судить по тому, что выше изложено. Короткий рассказ Понятовского об этой встрече пополняется любопытными подробностями в записках Екатерины.

Великий князь, рассказывает она, ласково приняв гостей, скоро с ними соскучился: в этот день была свадьба одного из его егерей, и ему очень хотелось на ней присутствовать; поэтому он сдал гостей великой княгине и более уже не показывался. После обеда великая княгиня повела небольшое общество, обычно у нее собиравшееся, и графа Горна осматривать внутренние покои ее и великого князя, которых граф Горн не видал. Когда вошли в кабинет великой княгини, ее маленькая болонка стала лаять на Горна, а когда увидела Понятовского, то чрезвычайно ему обрадовалась.

— Друг мой, — шепнул Горн Понятовскому, — нет ничего более предательского, чем комнатная собачка. Первое, что́ я делал с женщинами, которых любил, я дарил им болонку, и потом всегда мог знать, не пользуется ли

кто нибудь другой бо́льшим расположением, чем я. Посмотрите: меня собака чуть не съела, и не знала, что́ делать с радости, когда увидала вас, — значит, не в первый раз она вас видит.

Понятовский стал уверять, что это случайность и фантазия Горна, но тот ответил:

— Не беспокойтесь, вы имеете дело со скромным человеком.

Это характерная мелочь. И, конечно, от самого Понятовского узнала Екатерина, что́ граф Горн говорил ему на ухо.

Была тут, повидимому, речь и о том, как устроить верную переписку: «Мое посещение Ораниенбаума послужило к сближению великой княгини с Вильямсом», замечает Понятовский.

В конце лета он уехал и сам вез письмо Бестужева к графу Брюлю, всемогущему при короле Августе III, где канцлер просил о назначении его в Петербург представителем польского короля. В Риге Понятовского неожиданно догнал курьер и вручил ему драгоценную табакерку и письма от графа М. И. Воронцова и И. И. Шувалова, которые уведомляли его, что это высочайший подарок, знак благоволения к нему императрицы. Понятовский уверяет, что нимало при этом не встревожился, и прибавляет, что неосновательны распространившиеся в Петербурге рассказы, будто при появлении курьера он очень испугался, рассказы, давшие повод императрице заметить:

— Знает кошка, чье мясо ела.

Приведя эту пословицу по-русски, Понятовский переводит ее на французский язык, но не толкует. Не будет чрезмерною придирчивостью думать, что Понятовский потому так настоятельно и отрицает свой испуг, что в действительности то перепугался: Вильямс, несколько раз в переписке с Екатериною касаясь этого подарка, говорит, что в разговоре по этому поводу с канцлером сказал ему:

— Хоть я и посол, но не ручаюсь за свое спокойствие в минуту, когда бы мне сказали, что ко мне вслед за моим выездом отсюда, прибыл гвардейский офицер по повелению императрицы: история Шетарди всем очень памятна.

У Понятовского же, бесспорно, были поводы для опасений.

О времени отсутствия Понятовского из Петербурга Екатерина говорит только раз и очень мало: «вскоре после его отъезда Вильямс через Нарышкина передал мне, что Бестужев ведет интригу́, чтобы помешать назначению Понятовского, и пытается склонить и его, Вильямса, отсоветовать Брюлю делать это назначение, что он, конечно, этого не исполнит, но и канцлеру прямо не отказал, чтобы он не обратился к кому нибудь другому, кто охотнее пошел бы навстречу его желаниям». Как мало сказано, и по изложению, и по существу: неужели это краткое, холодное, словно безучастное сообщение и в самом деле исчерпывает все, что́ в это время, в связи с происходившим в течение зимы, Екатерину волновало и интересовало? Неужели и Бестужев просто поделился с Вильямсом своим планом устроить нечто против своих обещаний и наперекор желаниям великой княгини и затем безучастно оставил дело его течению и спокойно смотрел, что Понятовского все-таки собираются в Польше назначить послом в Петербурге, и что он, действительно, в таком звании и вернулся к Рождеству того же года?

Конечно, было не так: все время шла очень оживленная переписка у Екатерины с Вильямсом; обменивались письмами и Екатерина с Понятовским. Ценное в переписке Екатерины с Вильямсом будет рассмотрено далее; переписка влюбленных, повидимому, погибла, к сожалению; сохранился из нее — в копии, сообщенной Екатериною Вильямсу, — лишь один, но очень интересный, отрывок,

в котором рассказан следующий эпизод, характерный для личной истории Понятовского.

Мать Понятовского, расспрашивая сына очень нежно и вместе с тем ловко, выведала от него, что́ именно заставляет его так страстно желать возвращения в Петербург; она даже охотно говорила по этому поводу о радужных перспективах, открывающихся пред ним. Но когда он, ободренный этим, стал просить у нее формального согласия на свой отъезд, она со слезами на глазах сказала, что предвидела, что на этом может нарушиться их дружба, бесконечно ей дорогая, что она знает, как жестоко с ее стороны отказать, но что она решилась не соглашаться. Сын умолял, бросался к ее ногам; она была непреклонна и ушла.

«Я остался в самом отчаянном положении, в каком когда либо бывал», говорит Понятовский; «я всю ночь не сомкнул глаз, я бился головой о стену, более с ревом, чем со слезами».

На другое утро молодой влюбленный имел ужасный вид. С ним стали говорить взрослые мужчины семьи. Они (и теперь, кажется, уже без всякого труда) выспросили, в чем дело, и взглянули на него проще.

— Не время заниматься пустяками, — сказал граф Флемминг: — и он сам, и мы все сломаем себе шеи, если он не вернется. Мы потеряем поддержку Коллеты (так иногда, почему-то, называли Екатерину в шутку) — и заслужим ее ненависть, если не устроим его возвращения.

Был составлен — отцом и дядею Понятовского и графом Флеммингом — план своего рода побега покорного и нежного сына от нежной и любящей матери: он должен был отправиться с другим дядей в Литву, яко бы по делам, и оттуда, если не будут получены из Варшавы необходимые бумаги, уехать прямо в Петербург и написать, что

спешные и крайне важные письма заставили его ехать туда, не дав возможности побывать дома.

«К счастью», пишет Понятовский Екатерине, «бумаги получены, и я еду. И скажу вам», продолжает он, «что хотя и в следующих разговорах мать всегда стояла на своем и мы оба расстраивались, но у нее вырывались выражения, которые свидетельствуют, что в действительности то она желала, чтобы дело устроилось, но только чтобы она могла сказать себе: но формально я не согласилась», — Понятовский, повидимому, находит такое поведение понятным и даже достойным; но, кажется, на этот счет может быть и другой взгляд...

Понятовский вернулся в Петербург 23 декабря 1756 года.

Теперь он, как посол, поселился уже не у Вильямса, а отдельно; с Вильямсом он даже не видался; как ни тяжело это было для обоих друзей, но они принесли эту жертву; положение Вильямса, представителя почти явно враждебной державы, было таково, что часто встречаться с ним стало неудобно для того, кто мог и стремился быть часто при дворе. 31 декабря Понятовский имел официальную аудиенцию у императрицы и приветствовал государыню речью, которая очень понравилась, и по повелению Елизаветы Петровны была напечатана. О речи заговорили в Петербурге; всех более доволен ею остался, кажется, сам Понятовский. Он пишет:

«Императрица слыхала лишь банальные приветствия, которые произносились людьми, совершенно непривычными говорить публично, произносились так, что иногда нелегко было разобрать слова; для нее было совершенно новостью слышать лестные речи от иностранца, произнесенные ясно, одушевленно человеком, который был проникнут своим сюжетом, и думал, как и она сама, что король прусский, действительно, поступает несправедливо».

Понятовский добавляет, что, когда его речь дошла до Варшавы, его родные, восхищаясь его красноречием, вместе с тем заволновались: они вообразили, что слово «гидра», примененное к королю прусскому, оскорбит его и даст ему повод к каким-нибудь репрессиям. Но оказалось, что Фридрих, позволяя себе бесцеремонные действия, умел правильно ценить и пышные слова, за которыми нельзя было ожидать никаких реальных последствий; он сказал только:

— Я бы очень желал, чтобы то, что он говорит, оказалось правдой, и у меня бы, действительно, отрастали новые головы, когда старые будут срублены.

Даже сам Понятовский замечает по этому поводу, что это слова человека высоко одаренного, который слишком занят делами, чтобы обращать внимание на слова; неясно, как чувствовал он себя, видя, что его выступление по адресу Фридриха только дало тому повод проявить свое умственное превосходство.

Для влюбленных начался прежний образ жизни — «те же концерты, те же балы, те же кружки». Вильямс еще до возвращения Понятовского советовал крайнюю осторожность. «Встречайтесь», писал он Екатерине, «где угодно, но не у вас; если вас встретят ночью и узнают — это вызовет подозрения и только. Но если его схватят при входе к вам, — все кончено: он погиб». Но этим предостережениям не следовали: Понятовский надевал белокурый парик и, если стража его спрашивала: «Кто идет?» отвечал: «Музыкант великого князя», и проходил во внутренние покои.

В течение зимы 1756 — 1757 гг. Понятовский очень часто видался с великою княгиней; теперь, говорит он, Нарышкин уже не был для этого нужен. На некотором расстоянии от дворца он выходил из экипажа, шел пешком и поднимался по той лестнице, по которой впервые провел его Нарышкин; скоро караулы уже не опрашивали его и

не останавливали. Иногда, по предварительному уговору, великая княгиня выходила сама в мужском костюме, садилась в сани, где поджидал ее Понятовский, одетый как слуга, сопровождающий своего господина, и они ехали к нему. Все сходило благополучно; выдался только один неудачный день: на обратном пути сани опрокинулись и Екатерина получила такое сотрясение, что на короткое время лишилась сознания; скоро она, впрочем, очнулась; встретилось неожиданно другое препятствие: дверь, которую Екатерина оставила отворенною, оказалась запертою; но и тут помогло счастье: кто-то вскоре прошел и открыл дверь.

В марте 1757 г. Вильямс счел возможным в виде шутки — нельзя сказать, чтобы особенно уместной, но нравы XVIII в. это допускали — спросить Екатерину, не будет ли у ее сына брата? — И Екатерина, тоже шутливо, отвечала[1]. 17 июня 1757 г. у великой княгини был в Ораниенбауме великолепный вечер — с музыкою в саду, с беспроигрышною лотереею; праздник удался на славу; конечно, был и Понятовский, хотя прямо о нем не говорится. 1 января 1758 г. был большой фейерверк. Великая княгиня еще лежала: в декабре у нее родилась дочь Анна. Вечером к ней пришел граф П. И. Шувалов — рассказать о фейерверке и показать его проект; великая княгиня приняла его в постели, протирая глаза как бы со сна, с интересом выслушала, задавала вопросы, продержала его столько, что он стал уже явно торопиться, чтобы не быть столько времени не в той толпе придворных, которая окружала императрицу.

«Шувалов мог поклясться, что застал меня одну, заспанную, в постели», говорит Екатерина. А за занавесью постели,

---

[1] — Il me tient fort à cour, que monsieur votre fils eût un frère. Oserais je demander, s'il y en a un en chemin?, пишет Вильямс.

— Il me porte à merveille en avançant, отвечала Екатерина, подчеркнув последнее слово.

в той же комнате, сидела, едва удерживаясь от смеху, обычная компания, тайком собиравшаяся у Екатерины, — граф Понятовский и Нарышкин с женою и сестрами [1].

Теперь понятно, почему так волновалась Екатерина, когда говорилось о Понятовском, в связи с арестом Бестужева в феврале 1758 г. Великий князь, давно уже совершенно чуждый жене, стал теперь еще невнимательнее, и вызвал Екатерину на сцену, едва ли не в первый раз за время их супружеской жизни: — по крайней мере это единственная сцена, о которой говорит Екатерина. Так как в эти дни ей и Понятовскому было не безопасно встречаться тайком, то по просьбе Понятовского она собралась в русскую комедию; отличным предлогом для Екатерины было, что она может иметь счастье видеть там императрицу. Но если великая княгиня отправлялась в театр, то ее должны были сопровождать фрейлины; а великому князю хотелось в этот раз сидеть дома и играть в дурачки с фрейлиной Воронцовой, его тогдашней фавориткой. Он вздумал задержать и великую княгиню; он пришел к ней, «кричал по ее выражению как орел». Она этим не смутилась и несколькими холодными словами заставила его удалиться. Он запретил давать ей экипаж. Екатерина написала тогда императрице письмо, в котором горько жаловалась на свое положение в семье и при дворе и просила лучше отослать ее к родным; она заставила гофмейстера графа А. И. Шувалова отнести это письмо к государыне, а в театр все-таки пошла без Воронцовой. Письмом ее императрица была очень расстроена и ответила на словах, что скоро переговорит с нею.

Ночью 13 апреля и 23 мая состоялись эти беседы. На первой императрица была сначала не особенно милостива

[1] Екатерина относит это к 1 января 1759 г., но в данном случае ей изменила память: великая княжна Анна родилась в декабре 1757 г.; к 1 января 1759 г. Понятовского уже не было в Петербурге.

к великой княгине, но душевные страдания Екатерины и ее речи ее смягчили. На второй беседе Елизавета прежде всего взяла с великой княгини слово, что на свои вопросы услышит полную правду и тогда стала расспрашивать подробности об образе жизни великого князя — этими словами обрываются записи Екатерины, и ничего более о втором объяснении неизвестно. В результате их, однако, между императрицею и великою княгинею произошло сближение: по поводу кончины Елизаветы Петровны Екатерина вспоминала, что покойная государыня «последние два года» ее «отлично полюбила»; в письме к императрице, помеченном 29 мая 1758 г., великая княгиня выражается, между прочим, так:

«Нет того часа, чтоб я бога на коленях не просила о продолжении бесценного здравия В. И. В., да и быть инако не может покамест я жива. Лишь я вспомню высочайших милостей, которых я удостоилась слышать из навек благословенных уст В. И. В., слезы радостные льются из моих глаз»; далее она говорит о своем «откровенном, прежде прискорбном, но ныне, по наивысочайшей милости императрицы, радости наполненном сердце» и т. д.

Обстоятельнее говорит Понятовский. Не стесняясь в официальные депеши, отправленные на другой день и после первой и после второй беседы, помещать отчеты о них, он пишет по поводу первой:

«Великая княгиня имела вчера очень важный разговор с императрицей, который, по всей видимости, сгладит и приведет все к благополучному концу», а после второй: «Наконец состоялся второй разговор императрицы с великою княгиней и окончился самым удовлетворительным образом. С той и с другой стороны объяснились совершенно откровенно; обе были растроганы. Императрица дала великой княгине такие доказательства своего расположения, что можно ожидать самых серьезных последствий для

внутренних отношений двора и, следовательно, для всего государства. Императрица уже говорила в выражениях, которые ясно доказывают ее полное удовольствие». Понятовский говорит даже, что он и Екатерина получили надежду, что «внутренно» императрица «одобряет» их связь. И этому можно поверить: когда Понятовский вторично уехал из Петербурга, он переписывался с Екатериною через посредство И. И. Шувалова, который принимал в этом участие, конечно, с ведома императрицы, как догадывался и Понятовский; при ревности Елизаветы Петровны для ее фаворита были бы слишком опасны какие-либо тайные пересылки с великой княгиней, да и Екатерина не захотела бы вновь поставить себя в двусмысленное положение относительно государыни. О ночной беседе придется еще много говорить далее, теперь же надо докончить историю отношений Екатерины и Понятовского.

Вследствие ли уверенности, что императрица не смотрит на них слишком строго, или просто по легкомыслию, но Екатерина и Понятовский стали очень неосторожны. Летом 1758 г. Понятовский, помещаясь с прибывшим в Россию принцем саксонским в Петергофе, появлялся тайком у великой княгини чаще, чем обыкновенно, — и 27 июня с ним случилось почти невероятное происшествие.

Великая княгиня, под предлогом курса лечения водами, жила в уединенном павильоне. Ночью, в извощичьей карете, в сопровождении только одного курьера на запятках, ехал Понятовский уже по Ораниенбаумскому саду, как вдруг попались ему навстречу великий князь с Воронцовою и с целою компаниею полупьяных спутников. Великий князь окликнул извощика, кого это он везет. Курьер ответил, что портного, — с тем Понятовский и проехал. Но Воронцова что-то посмеялась на счет такого позднего визита портного. И вот, когда через несколько часов Понятовский

выходил от великой княгини, три человека с саблями наголо схватили его и притащили к великому князю. Узнав его, великий князь приказал его освободить и потребовал, чтобы все следовали за ним. Несколько времени этот странный кортеж молча направлялся к морю; Понятовский уже готовился к смерти; но скоро все свернули к другому павильону, а там великий князь задал Понятовскому такой вопрос относительно своей жены и его, что Понятовский даже во французском тексте записок не привел его полностью, а оставил вместо одного слова пробел. Понятовский ответил отрицательно. Великий князь сказал: — Говорите правду, потому что если вы сознаетесь, все устроится отлично, если же станете запираться, вам будет плохо.

— Я не могу сознаться в том, чего нет, отвечал Понятовский,

Великий князь вышел в соседнюю комнату, что-то там с кем-то говорил и, вернувшись, сказал, что так как Понятовский не признается, то должен тут же ожидать дальнейших решений, и удалился, оставив при Понятовском несколько караульных и своего любимого придворного Брокдорфа, по единогласному свидетельству многих — самого недостойного человека.

Через два часа пришел состоявший при молодом дворе граф А. И. Шувалов, «великий инквизитор», как его называли, начальник тайной канцелярии. В крайнем смущении он бормотал что-то, из чего можно было скорее догадаться, чем понять, что он ждет объяснений того, что случилось.

— Я думаю, граф, сказал Понятовский, — вы сами понимаете, что прежде всего для чести двора необходимо, чтобы все это окончилось с возможно меньшим шумом и чтоб я мог поскорее отсюда удалиться.

— Конечно, конечно, пробормотал Шувалов, ушел и,

вернувшись через час, сказал, что готова карета отвезти Понятовского в Петергоф.

Но на этом еще не окончились приключения этой ночи: подъехав к флигелю, где он занимал комнату в нижнем этаже, Понятовский решил, чтобы избежать лишних возможных встреч, влезть в окно—и попал в соседнюю, а не в свою комнату. Хозяин ее, какой-то генерал, узнав молодого посла, расхохотался.

— Не спрашивайте меня, пожалуйста, ни о чем, проговорил тот и поспешно удалился к себе, где и пытался заснуть, но тщетно.

Два дня провел Понятовский в большом смущении; по лицам окружающих он видел, что приключения его уже известны многим. К вечеру 29 июня, день именин великого князя, он получил от Екатерины записку с извещением, что она уже переговорила с Воронцовою. На балу во дворце, где Понятовский, как посланник, не мог не быть, он, танцуя с этой фавориткою, на редкость безобразною по наружности, да грубою и по натуре, сказал ей:

— Вы можете кое-кого сделать счастливыми.

— Это уже почти устроено, — отвечала она: — около полуночи отправляйтесь с Нарышкиным в нижний сад в Монплезире, в павильон, где живут их высочества.

Понятовский пожал ей с благодарностью руку; потом он обратился к Нарышкину.

— Идите, идите, отвечал тот, и я буду.

Не зная еще, что предстоит, Понятовский, улучив минуту, шепнул графу Браницкому:

— Не рискнете ли вы в полночь пройтись со мною в нижний сад? Чем кончится эта прогулка, бог знает, но возможно, что она кончится хорошо.

Браницкий, разумеется, согласился, и в назначенное время все трое отправились. Немного не доходя до павильона они встретили Воронцову, которая сказала:

— Вам надо несколько подождать: у великого князя гости, они курят свои трубки, и прежде, чем видеть вас, великий князь хочет от них избавиться.

Заглянув несколько раз в павильон, она, наконец, сказала:

— Идите.

Великий князь вышел навстречу и, принимая грубый тон, который всегда казался ему лучшим выражением благодушия, обратился к Понятовскому со словами:

— Ну, не дурак ли ты? Почему ты сразу мне не доверился?! Не было бы никакой руготни.

Понятовский, зная слабую струну великого князя, любившего хвастать своими небывалыми подвигами при ловле воров-цыган, в шутливом тоне ответил, что его высочество принял такие искусные военные меры, что ничего невозможно против него поделать. Петр Федорович развеселился и, со словами: «Ну, теперь мы уже друзья, не хватает нам только еще кого-то», вышел — и через несколько минут ввел за руку великую княгиню в какой-то накидке на ночном туалете и туфлях на босу ногу.

— Вот она, сказал великий князь; надеюсь, теперь мною все довольны.

«И вот» — заканчивает Понятовский свой рассказ — «мы все шестеро, словно ничего не случилось, стали болтать, смеяться и выделывать тысячи шалостей с фонтаном, который был в салоне, и разошлись не ранее четырех часов утра. Как ни мало все это вероятно, но я утверждаю, что все это сущая правда».

Потом еще четыре раза приглашал Петр Федорович Понятовского; он проходил по маленькой лестнице прямо в апартаменты великой княгини; там он, Екатерина, великий князь и Воронцова ужинали вместе, затем великий князь со своей фавориткою удалялся, говоря:

— Ну, мои дети, теперь мы, я думаю, вам больше не нужны.

А Понятовский оставался, сколько хотел.

Действительно, все это кажется невероятным, хотя и рассказано не очевидцем только, а главным действующим лицом. Но всякие сомнения излишни: случай такой действительно был.

В бумагах Екатерины сохранился довольно подробно составленный ею конспект для записок; большая часть по нему изложена и в связном рассказе; но своим концом конспект несколько выходит за пределы написанного. И вот, что в нем читается:

«Я там пью воды, где я помещаюсь. Как арестуют по выходе от меня графа П(онятовского). Брокдорф говорит о том, чтобы его убить. Лев Н(арышкин) советует передать его Але(ксандру) Ш(увалову), этот последний передает его своему зятю и уезжает в Петергоф. Иван Ш(увалов) советует его отпустить, что он и сделал. Александр Ш(увалов) приходит на следующий день рассказать мне, что произошло ночью. Я ничего об этом не знала. Великий князь приходит ко мне, говорит со мною. Его смягчили, потому что вовсе не хотели огласки. Он мне предложил свидание. Он настаивает, чтоб я видела графиню Елиз(авету) В(оронцову). Она приходит ко мне. Я остаюсь целый день в постели в большом унынии. На следующий день вечером я получаю через Алекс(андра) Ш(увалова) записку от императрицы, написанную рукою Ивана Ш(увалова) и подписанную Ели(заветою), в которой она просит меня не огорчаться и приехать, как ни в чем не бывало, в Петергоф на Петров день. Я на это отвечаю и выражаю мою очень чувствительную благодарность. Я еду в Петергоф. Во время бала в Петров день граф Ржевусский сказал мне: «Мой друг просил меня вам сказать, что через посредничество де-ля Греле и графа Браницкого все устраивается, и что сегодня вечером он надеется иметь счастие видеть вас у великого князя». А он никогда там не бывал. Я

ответила графу Ржевусскому. «Скажите вашему другу, что я нахожу этот конец совсем смешным, и что это гора, родившая мышь». Вернувшись с ужина, я пошла спать, не слыша никаких разговоров. Между двумя и тремя часами утра я услышала, как отдергивают занавес у моей кровати, и я разом проснулась; это был великий князь, который сказал мне, чтобы я встала и следовала за ним; кого я нахожу у него. И вот мы все трое лучшие друзья на свете. Как до отъезда графа П(онятовского) великий князь проводил два-три вечера в неделю в моем кружке и пил мое английское пиво. Как в силу этой сцены и сцены следующей зимы нельзя ни в чем полагаться на его императорское высочество, и как обстоятельства принимали такой оборот, что надо было погибнуть с ним, чрез него, или же постараться спастись от гибели и спасти своих детей и государство».

Эти заметки делают совершенно несомненною истинность рассказа Понятовского[1].

Великий князь единственный раз имел случай поступить так в подобных обстоятельствах. И не удивительно, что не представлялось ему случаев больше; но не только удивительно, а возмутительно, что он и всегда думал так же. Больше чем за 10 лет до этого времени, на основании того только, что случайно встретили в одной комнате великую княгиню и одного из молодых придворных служителей, возникло подозрение, что Екатерина им увле-

[1] Очевидно, на вышеизложенное намекает Понятовский в одном письме к Елагину, с которым он переписывался и по высылке его в Казань. Большую часть письма от 9 (20) июля составляют следующие строки: «Удивительнейшие и невероятнейшие приключения, которых мне невозможно описать, делают то, что я имею надежду вернуться сюда, но теперь через три недели я должен отсюда уехать (он уехал 2 августа). На сколько времени, — не знаю, но для меня все слишком долго!.. Бог знает, как все это кончится. Теперь я могу сказать вам только, что императрица очень и очень милостива к ММ (очевидно, к великой княгине) и что муж ММ теперь стал лучшим другом моим и ММ—и далее несколько строк еще.

кается; это было не только неосновательное, но и глупейшее подозрение; Екатерина несомненно правдиво отрицала всякие основания для него и была им глубоко оскорблена. Заметив, что на нее дуется и великий князь, она смело спросила его, что с ним, и если он на нее сердится, то за что? Он смутился, но, помолчав, сказал:

— Мне хотелось бы, чтобы вы меня любили так же, как любите Петра Чернышева.

Екатерина горячо протестовала:

— Это страшная клевета, говорила она: — во всю жизнь я почти и не говорила с ним; легче было бы подозревать меня в привязанности к Андрею Чернышеву, вашему любимцу, которого вы сами же ежедневно посылали ко мне, которого я часто у вас видала, с которым мы вместе с вами шутили.

Великий князь на это ответил:

— Откровенно сказать, мне трудно было этому поверить; а особенно меня сердила мысль, что вы не довериялись прежде всего мне, если имеете склонность к кому-нибудь другому.

Замечательны последние слова конспекта записок:

«Обстоятельства принимали такой оборот, что надо было погибнуть с великим князем, чрез него, или же постараться спастись от гибели и спасти своих детей и государство».

Они тем более останавливают на себе внимание, что не какую-нибудь мелочь, которая способна ускользнуть из памяти, они фиксируют, а содержат общее суждение, не сразу, может быть, и сложившееся в сознании Екатерины с полною определенностью, но оживавшее, как только она вспоминала эту ночную сцену...

Но только ли жалкий Петр Федорович окончательно упал теперь в глазах Екатерины? Не зародилось ли у нее тут критическое, даже, может быть, и неуважительное отношение и к другому, который еще владел ее сердцем,

Граф Станислав Август Понятовский

Портрет работы L. E. Vigée Lebrun, гравированный J. Klauber'ом
(из собрания Русского Музея)

который еще недавно казался выше и лучше других, а теперь чувствовал себя спокойно и веселился в таком положении, которое для личности действительно крупной, должно было бы быть невыносимо? Великая княгиня была не такая натура, для которой бесследно проходит все, если только не влечет за собою непосредственно чего-нибудь неприятного. А за последнее время, с арестом Бестужева, с двумя беседами с императрицей, она пережила много...

Как бы то ни было, теперь, когда отчасти огласка делала лучшим, чтобы Понятовский уехал хоть на время, да и дела призывали его в Польшу, Екатерина, повидимому, уже не так страшилась разлуки; она, кажется, и не удерживала возлюбленного и, обменявшись с ним клятвами в верности, удовольствовалась тою перепискою, какую можно было вести через И. И. Шувалова.

Об отношениях Екатерины к Понятовскому, или лучше сказать, об ее мыслях о нем известно за это время кое-что лишь по письмам ее к Елагину. В шести небольших письмах, отправленных за время с начала сентября 1758 г. по февраль 1759 г., или, быть может, немного позже, Екатерина, разумея Понятовского под именем «нетерпеливого человека», говорит следующее. В первом письме: «Нетерпеливый человек уехал уже месяц тому назад, и скука и горесть моя велика, надежду имею на его возвращение»; во втором письме, от 18 сентября, читается: «нетерпеливый человек здоров в отечестве своем»; в третьем, от 26 сентября: «нетерпеливый человек в отечестве своем и все по старому». Следующие три письма без дат, а в последнем упоминается, что прошло четыре месяца после какого-то письма Елагина. В первых из этих писем говорится: «Нетерпеливого человека поворота не слышно, а старание о том неусыпно»; во втором: «я к нетерпеливому человеку пошлю письмо ваше, которое его без сумнения обрадует. По сих пор весь труд к его обороту был всуе,

но, не теряючи надежды и оказьи, я никогда не перестану о том трудиться и, покамест дух во мне, буду помнить его и ваши ко мне верность и усердие». Наконец, в последнем письме сказано в приписке: «Нетерпеливый человек здоров, верен и мил по прежнему, а обретается в отечестве своем. Поворот его хотя трудный, но не отчаянный». Конечно, Екатерина теперь стала осторожнее, хотя особенно бояться чего-либо она и не имела причин; но трудно, кажется, признать эти письма за письма женщины страстно влюбленной.

За это время более известно об интимной жизни Понятовского, чем Екатерины.

Понятовский был в Варшаве милостиво принят при дворе: король со смехом спрашивал, восстановлен ли мир между великой княгиней и ее супругом; граф Брюль говорил Понятовскому комплименты по поводу его служебной деятельности. Он вращался в лучшем обществе Варшавы, среди прекрасных и милых женщин, оказывавших ему большое внимание. Особенно дружен был Понятовский с одною из своих кузин; она с интересом расспрашивала его о великой княгине, писал о ней и Понятовский Екатерине, и наконец, эти две женщины сами обменялись любезными письмами. Какие-то неосновательные слухи о его легкомыслии и тщеславии навлекли на него выговор г-жи Жоффрень, дамы, имевшей славный салон в Париже, с которою он познакомился во время пребывания своего в столице Франции в 1753—1754 и с которою впоследствии переписывалась и Екатерина. В досаде Понятовский сжег это письмо и послал оправдание, на которое последовал ответ, сохраненный Понятовским, но почему-то не приведенный в записках, куда он включил множество памятников своей корреспонденции[1].

[1] Тут же Понятовский говорит, что он, «разделял скорбь с великою княгинею», когда в это время умерла ее дочь Анна, родившаяся в 1757 г. «ее мать», прибавляет он, «должна была, по обычаю греческой церкви, целовать, перед преданием ее земле, ее руку».

В течение более двух лет строго соблюдал Понятовский свои клятвы верности и, наконец, имел «совершенно излишнюю» как он говорит, совестливость просить разрешения от них. Ответ пришел уже только после повторительного письма Понятовского: он был задержан бездорожицей. Екатерина писала, что давно ожидала этого несчастия, но что ее чувства останутся неизменны. Это была неправда, говорит Понятовский; ее письма становились все холоднее и холоднее, и потом оказалось, что я уже заменен Орловым, но тогда он этого не знал. В своем обвинении Екатерины он, кажется ошибся. Она, тоже не зная, что Понятовский рассказывает так, в очень откровенном признании говорит о своем сближении с Орловым «по тригодичной отлучке» Понятовского.

Отец подшучивал над страстью сына; сверстники смеялись, что царство его не от мира сего; мать с горечью заговаривала с сыном на ту тему, что он на гибельном пути, и мечтала женить его на Оссолинской, которую Понятовский называет прекраснейшею женщиной в Польше. Тогда Понятовский — вероятно, искренно, но не без мелодраматичности — произнес перед своим духовником обет безбрачия, если только не суждено ему соединиться с тою, которая одна владела его сердцем; когда он сообщил об этом матери, та с чувством поцеловала его и брачные свои проекты оставила. Занимался Понятовский и общественной деятельностью, но она стояла для него далеко на втором плане: он все ждал вызова в Петербург.

Скончалась императрица Елизавета. С воцарением Петра Федоровича переписка Понятовского с Екатериною прекратилась совсем, вследствие совершенно непонятных соображений о ее крайней опасности для Екатерины.

Короткое царствование Петра Федоровича принесло забот и тревог всего больше, конечно, Екатерине. Те качества нового государя, которые дали Понятовскому основа-

ние очень метко выразиться, что, видя Петра Федоровича, невозможно было не сказать себе: «да это шут, наряженный принцем!», проявились на престоле с особенной яркостью; через полгода новый государь был свергнут общим негодованием, если не сказать презрением. Воцарилась Екатерина. Ее сердцем теперь владел Григорий Григорьевич Орлов, всегда чуждый каких-либо эгоистических соображений, а в решительные минуты проявивший и преданность, и бесстрашие. Переписка с Понятовским у Екатерины возобновилась, но теперь тон ее уже совершенно иной.

Через три дня по воцарении Екатерина написала Понятовскому:

«Убедительно прошу вас не спешить приездом сюда, потому что ваше пребывание здесь при настоящих обстоятельствах было бы опасно для вас и очень вредно для меня. Переворот, который только что совершился в мою пользу, похож на чудо. Прямо невероятно единодушие, с каким все произошло. Я завалена делами и не сумею сделать вам подробного описания. Я всю жизнь буду стремиться быть вам полезною, уважать вас и вашу семью, но здесь сейчас все в критическом положении и все имеет значение. Я не спала три ночи, ела два раза в течение четырех дней. Прощайте, будьте здоровы».

Ожидания Понятовского, что вот-вот его вызовут в Петербург, еще усилились; он так волновался, что захворал; изумляло его, что, вопреки заявлению первого манифеста, где высказано было резкое порицание миру с Пруссией, мира этого не нарушали. Второе, очень большое письмо было отправлено ровно через месяц после первого. Начинается оно так:

«Я немедленно отправляю графа Кайзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем по кончине нынешнего, а в случае, если это не удастся, я желаю, чтобы ко-

ролем был князь Адам (Чарторижский, дядя Понятовского). Здесь все умы еще в брожении. Я прошу вас воздержаться от поездки сюда, чтобы еще не усилить его».

Далее идет обстоятельное и очень верное описание событий, приведших к перевороту, и самого переворота. Кончается письмо словами:

«Я во многом стеснена. Всего вам рассказать не могу, но это так. Будьте твердо уверены, что я все сделаю для вашей семьи. Мне необходимо соблюдать множество приличий и предосторожностей, и вместе с тем я чувствую все бремя правления. Имейте в виду, что все произошло от ненависти к иностранцам; самого Петра III считали за чужого. Прощайте. Странные бывают на свете положения».

В самом начале третьего письма, которое пошло через неделю, читается:

«Я должна сказать вам правду: благодаря этой переписке я подвергаюсь тысяче опасностей. Последнее ваше письмо, на которое я отвечаю, чуть-чуть не было перехвачено. Я на виду и не должна навлекать ни малейшего подозрения. Надо идти прямо. Я не могу вам писать; подождите. Говорить обо всех внутренних тайнах было бы нескромностью, и я прямо этого не могу. Не тревожьтесь, я поддержу вашу семью».

Далее идет речь о политических делах Польши. Последние слова этого письма таковы:

«Передайте мой привет вашей семье и пишите мне, как можно меньше, или лучше совсем не пишите без крайности и уж ни в каком случае не употребляйте шифра».

В начале сентября было отправлено четвертое письмо, опять довольно большое, и с некоторыми упреками, если не сказать замечаниями Понятовскому.

«Вы читаете мои письма не достаточно внимательно»,

так начинается оно. «Я вам сказала и еще повторяю, что я подвергнусь крайним опасностям с разных сторон, если вы появитесь на русской земле. Вы отчаиваетесь. Удивляюсь этому, потому что каждый рассудительный человек должен, в конце концов, примириться со своим положением. Я не могу и не хочу объясняться относительно многого».

Далее, после уверений в неизменном интересе ко всей семье Понятовских, Екатерина снова говорит о своем положении, повидимому, отвечая на какие-то советы или предложения Понятовского:

«Твердо поддержать меня может только мое поведение. Оно должно быть то, какого я держусь. Но всевозможные затруднения могут на меня обрушиться, и ваше имя и ваш приезд способны вызвать самые печальные последствия».

После нескольких сообщений о своих приближенных, Екатерина говорит в заключение:

«Прощайте; будьте уверены, что я навсегда сохраню дружбу к вам и ко всем, кто вам близок, и предоставьте мне самой выпутываться из моих затруднений».

Следующее письмо послано было почти через два месяца.

«Я не могу и не хочу» — пишет Екатерина после нескольких вступительных слов — «говорить обо всех препятствиях к вашему приезду сюда; я вам довольно уже говорила об этом в предыдущих письмах и я не лгу. Только я одна могу управлять собою во всех обстоятельствах моей жизни. Я не советую вам опасной поездки, потому что мои действия не могут быть окружены тайною».

Далее речь о делах.

После этого письма в корреспонденции наступает некоторый перерыв: следующее письмо — по крайней мере следующее сохранившееся как в бумагах Екатерины, так и в мемуарах Понятовского — уже от 2 апреля 1763 г. Оно начинается так:

«Ну, если надо говорить совершенно прямо, если вы решили не понимать того, что я вам уже говорю полгода, то дело в том, что если вы приедете сюда, то рискуете, что нас обоих убьют».

Далее говорится о делах польских и по одному, совершенно незначительному поводу Екатерина замечает едва ли случайно:

«Не долго бы продержались те, которые бы поступали всегда по внушениям иностранцев, которых вы желали бы видеть вокруг них».

Наконец, последнее письмо — от 5 января, повидимому уже 1764 г., невелико и холоднее всех прочих.

«Отвечаю на ваше письмо от 8 декабря (по старому стилю это 27 ноября). Не знаю, чем я заслужила упреки, которыми наполнены ваши письма», так начинается оно. Дальше идут замечания о действиях Кайзерлинга, на которые, очевидно, жаловался Понятовский. «Впрочем», говорит Екатерина, «без сомнения много уже и того, что я вам отвечаю, я бы не должна этого делать. Я не хочу и не могу говорить неправду. Моя роль должна быть безупречной». — Затем опять несколько слов о Кайзерлинге и обычные в конце писем уверения в расположении.

Письма Понятовского к Екатерине за это время неизвестны; повидимому, не оказалось их в бумагах Екатерины, не включил их в свои мемуары и Понятовский, куда письма Екатерины включены. Второе письмо вызвало в его семье большие волнения и много разговоров. По лицу дяди князя Адама, говорит Понятовский, можно было видеть, что избрание в короли племянника представлялось ему слишком затруднительным, и что он надеялся занять престол сам и возмечтал уже, что его сын будет признан наследником; но сын решительно отказывался от такого положения в будущем и даже, несмотря на все отговаривания, письмом на имя графини Браницкой, просил, чтобы

Екатерина заботилась о выборе Понятовского, заявляя, что сам о короне не мечтает. Понятовский говорит:

«В течение зимы 1763—1764 г. я дважды писал императрице: «Не делайте меня королем, но призовите меня к себе». Двумя побуждениями были мне продиктованы эти слова: во-первых чувством, которое я питал еще в своем сердце, во-вторых надеждой, что я принесу больше пользы моему отечеству, как частный человек, но около нее, чем как король в Польше. Все было напрасно, просьбы мои не имели успеха. — Обращаюсь к прерванной нити рассказа», говорит он и переходит к описанию событий, совершившихся около него в Польше; теперь очевидно, что не случайно Екатерина дважды высказывала в письмах к нему мысль, что вредно и ненавистно влияние на дела государственные иностранцев, а признаваясь, что руководствовался соображениями и чисто политического свойства, Понятовский снимает и с Екатерины упрек в том, что и она относительно него действовала по таким же соображениям.

По короткой, только что приведенной заметке Понятовского нельзя сказать, была ли прямо высказана в его письмах такая просьба, или надо было понять ее только из общего их тона и смысла; но можно думать, что и он в этих письмах говорил уже не как влюбленный только, а как человек, имеющий в виду более дела общественные и вопросы государственные, чем личные чувства.

Что же касается Екатерины, то глубокая перемена характера ее писем совершенно очевидна: она говорит теперь всего больше о делах государственных, да и во всем, что говорит она тут, и кругозор, и дух, и полет мысли совсем не те, какие были у нее прежде, когда, как великая княгиня, наталкивалась она на те же вопросы, читать ли ее записки, или взять ее письма того времени. Екатерина тут другая, не та, которая в 1755—1758 гг. веселилась, интриговала и позволяла себе так много.

Всего четыре года отделяют эту ее переписку с Понятовским от их похождений в Петербурге и Ораниенбауме, но письма 1762—1763 гг. гораздо менее напоминают Екатерину того времени, чем ту, какую увидал Понятовский в последнюю свою встречу с нею, когда он, уже как король польский, выехал в 1787 г. в Канев приветствовать императрицу во время путешествия ее в Крым, был принят церемонно, хотя и дружественно на императорской галере и провел тут, согласно заранее установленному церемониалу, один день, как ни старался он добиться, чтобы свидание было продолжено.

На историческом поприще с 1762 г. в лице Екатерины действует совершенно не та женщина, какою была она в положении великой княгини. Почему и как из обворожительной и довольно легкомысленной молодой женщины, одинаково способной и увлекаться и увлекать, вышла серьезная историческая личность, почему Екатерина, заняв престол, почувствовала себя сразу же, помимо всяких других отношений, императрицею и только императрицею — это объяснится в дальнейшем изложении, а пока сделаем маленькое отступление и познакомимся ближе еще с тремя личностями, с которыми судьба поставила Екатерину в ближайшие отношения — с Вильямсом, Бестужевым-Рюминым и великим князем Петром Федоровичем. Это отступление от рассказа о жизни самой Екатерины далеко не лишнее: оно ярче осветит тот круг, в котором Екатерина жила, и этим поможет лучшему пониманию и характера ее деятельности: кое-что в переписке ее с Понятовским объясняется ее воспоминаниями и впечатлениями, вынесенными из тех интриг, в которые вовлекал ее Вильямс, личность Бестужева не осталась без влияния на все ее политические взгляды и приемы, Петр Федорович, наконец, играл не последнюю роль в ее личной жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

АНГЛИЙСКИЙ ПОСОЛ СЭР ЧАРЛЬЗ ВИЛЬЯМС. ГРАФ БЕСТУЖЕВ-РЮМИН. ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ.

Роман Екатерины и Понятовского дал повод к переписке между Екатериною и английским послом Вильямсом.

Вильямс был в самых лучших отношениях с Понятовским: уже около 6 лет, со времени службы Вильямса в Дрездене, Понятовский состоял при английском дипломате в качестве «кавалера посольства» и до некоторой степени был действительно его воспитанником, как говорится это не раз в переписке; Вильямс смотрел на Понятовского как на симпатичного и многообещающего юношу, Понятовский относился к Вильямсу с тем чувством любви и почтения, какое естественно возникает у молодых людей, когда человек, несколько старше их годами, выражает им внимание, расположение и доверие. Увлечение Понятовского Екатериною и ее взаимность не были скрыты от Вильямса; именно он и ходатайствовал перед Бестужевым, чтобы Понятовский был облечен официальным характером и этим упрочено было бы его положение в Петербурге. С отъездом Понятовского Вильямс взялся пересылать письма, которыми влюбленные желали обмениваться во время разлуки. Эти письма можно было отправлять не иначе, как с верною оказией, и необходимую тайну достаточно обеспечивало участие тут верного друга, тем более

такого, которому по роду его службы приходилось время от времени отправлять курьеров.

Естественно Вильямс не ограничился ролью простого передатчика писем: невозможно было ни его сдержать, ни ему самому оставаться в таком положении. Столь существенная услуга необходимо располагала к большей доверчивости, и параллельно с тем, как за 3—4 месяца от Екатерины к Понятовскому и от него к ней было переслано по пять или шесть писем, возникла очень оживленная переписка между Екатериною и Вильямсом: с сентября по декабрь 1756 г. они обменялись приблизительно 150-ю посланиями, объем которых достигает по меньшей мере 10 печатных листов среднего размера. Вильямс охотно заводил речь об «отсутствующем друге»; при этом он так ловко смешивал вопрос о его замедлявшемся возвращении с рассуждениями вообще о ходе дел, так естественно переводил речь на те отношения, среди которых вращался в Петербурге и Понятовский, которые интересовали поэтому и великую княгиню, и в то же время были важны и для него самого, что Екатерина, почти невольно, писала ему о дипломатических, даже политических делах; незаметно, чуть не с каждым письмом, расширялся круг затрагиваемых вопросов, возрастала важность делаемых сообщений, и мало по малу переписка Екатерины с Вильямсом стала, без преувеличения, преступною: великая княгиня, во многом не сочувствуя тогдашнему направлению русской политики, не стесняясь высказывала это перед послом державы, с которою дипломатические отношения должны были вот-вот порваться и, действительно, вскоре порвались, сообщала ему, какие узнавала сведения о ходе переговоров, о решениях, принимавшихся правительством, сообщала предположения и сведения даже военного характера; она делала некоторые шаги, подсказываемые ей Вильямсом, с целью достигнуть в тогдашних правящих

кругах той или другой группировки сил в смысле, желательном для этого представителя почти явно враждебной державы; наконец, она обсуждала с Вильямсом замыслы прямо преступные. В дальнейшем изложении эти последние и будут рассмотрены со всею подробностью.

Переписка Екатерины и Вильямса поступила в Государственный Архив в 1864 г. от Александра II. Письма Вильямса все в подлинниках, письма Екатерины все, за исключением четырех — в копиях; этому есть объяснение. В переписке неоднократно упоминается, что Вильямс возвращал великой княгине ее письма, потому то они и не сохранились: они были сожжены Екатериною в 1758 г., когда разыгралась Бестужевская история, при том ауто-да-фе, которое подробно и обстоятельно рассказано в Записках Екатерины, — и, бесспорно, она говорит тут правду: если бы сожжено было не все, Екатерина не решилась бы отрицать кое-чего с такою смелостью, какую проявила во время первого ночного объяснения с императрицей, да и из всех бумаг, написанных Екатериною до 1758 г., уцелела только та редакция Записок, которая писана была для Понятовского и, повидимому, у него и находилась, да три бумаги, бывшие у великого князя Петра Федоровича. Возвращая Екатерине ее письма, Вильямс приказывал снимать с них копии; об этом, — по крайней мере, письменно, — своей корреспондентке он не сообщал: но что он делал так — это, прежде всего, можно предполагать по тому, что нередко он задерживал возвращение письма на день или на два, да можно видеть и прямое подтверждение этому в том, что среди бумаг Вильямса сохранилась копия с одного письма, начатая, но не доконченная, и носящая надпись: «Это вторая начатая копия». Между копиями остались у Вильямса четыре оригинала потому, что один из этих автографов есть полуофициальное письмо Екатерины, которое Вильямс мог показать министерству, или даже и ко-

ролю: письмом этим Екатерина свидетельствует Вильямсу свое полное одобрение его поведения в Петербурге, заявляя, что оно служило одинаково чести и выгодам Англии и России, а три другие — представляют совершенно незначительные записочки, повидимому — просто случайно затерявшиеся в бумагах Вильямса. Свои письма Вильямс тоже, вероятно, или получал обратно от великой княгини немедленно, или, по крайней мере, испросил при своем отъезде; Екатерина, конечно, никогда не отказала бы своему корреспонденту в такой просьбе, Вильямс же откровенно высказывал взгляд, что своих писем не следует оставлять в чужих руках. Однажды, например, он писал Екатерине: канцлер выразил желание, чтобы я ему написал то-то и то-то; «если канцлер обещает возвратить мне мое письмо, то я готов ему писать все, что ему угодно». У наследников Вильямса и сохранилась благодаря этому вся эта переписка, а от них попала потом и в Россию. В подлинности всей корреспонденции не может быть никакого сомнения — настолько соответствуют копии с писем Екатерины тем оригиналам Вильямса, на которые письма великой княгини были ответами, да и все внутреннее содержание переписки громко свидетельствует о ее подлинности [1].

[1] В Записках Екатерины и, кажется, во всех ее бумагах о переписке с Вильямсом нет ни слова; упоминания о ней есть в сообщениях Вильямса, напечатанных впоследствии в «Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen», во втором томе «Beiträge zur neueren Geschichte» Раумера и в книге «La Cour de Russie il y a cent ans». Но тут везде отрывки из переписки, столь незначительные по объему и в таком виде, что оставалось место разным сомнениям; Бильбасов, например, находил, что все это вымысел и что сообщаемые Вильямсом выдержки суть не извлечения из писем Екатерины, а являются «одним из видов обмана Фридриха III английским послом»; сообщения Вильямса о своей переписке с великою княгинею Бильбасов называет клеветою на Екатерину (Бильбасов, Первые политические письма Екатерины II, СПБ., 1887, 32 — 35, 38). Теперь несомненно, что факта своей переписки с Екатериною Вильямс, во всяком случае, не выдумал; другой вопрос, передавал ли он выдержки из писем с буквальною точностью, или своими словами и, быть может, несколько усиливая их или подкрашивая; подробно рассматривать этот вопрос не важно, раз самые письма теперь обнародованы полностью.

Есть в этой корреспонденции, однако, одна особенность, можно сказать даже странность, которая не может быть объяснена вполне удовлетворительно: переписка ведется как будто между двумя лицами мужского пола: корреспонденты обращаются друг к другу со словом: «Monsieur», Екатерина всегда, за исключением двух-трех обмолвок говорит о себе в мужском роде. Если это делалось, чтобы отвратить какие-либо подозрения, то такой рассчет был слишком наивен. Лишь тот, кто просто мельком взглянул бы на обращение в начале, да не удивился бы и тому, что нет подписей, лишь тот не увидал бы сразу, что перед ним — нечто и загадочное, и важное, не понял бы и того, что один из корреспондентов женщина и, притом, занимающая очень и очень высокое положение; стоило прочесть какие-нибудь две-три страницы, чтобы угадать корреспондентов. Об официальном положении одного из них и об английском короле, как его господине, говорится прямо, а о том, кто такой другой корреспондент, могло ли быть сомнение, когда видно, что перед ним заискивают, даже склоняются первые лица в государстве — Бестужев, Воронцов, Шуваловы, — что Бецкий мог броситься ему в ноги, а Вильямс писать: «je baise vos pieds», «je suis tout à vous»[1], что появление его на улице обратит на себя общее внимание, что ему нельзя принимать у себя Понятовского под страхом величайших опасностей для этого последнего, что он должен чувствовать себя наследником русского престола, что, наконец, он одинаково близок к великому князю Петру Федоровичу и к великому князю Павлу Петровичу. Мистификация, которую, как будто, пытались устроить участники переписки, является, таким образом, слишком прозрачною. В объяснение ее не надо ли предположить отражения каких-то шутливых отношений, существовавших в кружке

[1] «Я целую Ваши ноги», «Я весь принадлежу Вам».

Екатерины, Понятовского и Вильямса, тем более, что в переписке, на ряду со множеством действительных имен, в иных случаях, когда совершенно ясно, о ком идет речь, употребляются и прозвища — например, граф К. Г. Разумовский именуется «генералом Минуччи», Воронцов — «Лепид», Михаил Бестужев — «Дон Мигуэль», граф П. И. Шувалов — «курфирст» (électeur), Царское Село — «Нимфенбург» и т. д. Не стоит, впрочем, пускаться в догадки, которых подтвердить ничем нельзя; пусть указанный прием и мог бы быть как нибудь объяснен, пусть это шутка, каприз — корреспонденция и в том и в другом случае остается одинаково ценною, — и это, наверное, вполне будет доказано читателю нижеследующими очерками, материал для которых почерпнут главным образом из этого, еще не использованного до сих пор источника.

Сэру Чарльзу Генбюри Вильямсу было в 1756 г. 47 лет. С 1747 г. он был послом в Дрездене, в 1750 г. переведен был в Берлин, но через год возвращен к саксонскому двору, так как заслужил нерасположение Фридриха; — факт, что представитель державы, политика которой была неугодна прусскому королю, не поддался его влиянию, а навлек его нерасположение, есть хорошая рекомендация уму и твердости этого дипломата. Когда Англия в виду все более и более подозрительных действий Фридриха, задумала упрочить дружеские связи с Россией, Вильямс в 1755 г. был послан в Петербург. Здесь ему быстро удалось достигнуть возобновления конвенции, заключенной между Россией и Англией в 1747 г.: Россия снова, за ежегодную субсидию в 500.000 фунтов стерлингов гарантировала наследственные ганноверские земли английского короля и обязалась вооруженною рукою защищать их. 19 сентября 1755 г. Вильямс отправил договор, соответ-

ствовавший данным ему инструкциям, и готовился торжествовать свой успех. Но в то самое время, как он в Петербурге вел переговоры против Пруссии, английское министерство переговаривалось с Фридрихом, и 5 января 1756 г. заключило с Пруссией союзный договор: Англия стремилась обеспечить себя в виду враждебного настроения Франции, постоянно грозившего перейти в открытое столкновение, Фридрих же думал, что, если он вступит в соглашение с союзником России, то через него привлечет на свою сторону и Россию, или, в худшем случае, обеспечит себе ее нейтралитет. Но как только русскому правительству сообщено было об этом Вестминстерском договоре, канцлер вручил Вильямсу «секретнейшую декларацию», в которой было изложено, что обещанная Россией по субсидному договору диверсия «не может быть и не будет произведена ни в каком другом случае, как только в том, если король прусский нападет на земли английского короля или кого-либо из его союзников». Бестужев был совершенно прав, делая это заявление: новым договором возобновлялся старый, который был заключен в 1747 г. при обстоятельствах, не оставлявших сомнения, против кого он направлен, и вскоре после его подписания русский посол покинул Берлин; и если в переговорах с Вильямсом не было прямо называемо имя того государя, который имелся в виду, то, было ли это лишь результатом того, что договаривающиеся слишком хорошо понимали друг друга и полагали, что в имени нет и необходимости, так как дело ясно и не может быть спора, сделал ли это Бестужев умышленно, рассчитывая получить через то какое-нибудь преимущество над английским послом, — все равно: декларация столь неоспоримо соответствовала переговорам, и по форме столь строго отвечала дипломатическим приемам, что английское правительство принуждено было согласиться с нею без возражений, а Фридрих прямо высказал, что совершенно

ошибся в своем расчете соглашением с Англиею удержать Россию.

Но Вильямс не хотел примириться с таким крушением только что достигнутого им успеха, и долго надеялся и старался сохранить силу за договором, подписанным благодаря его усилиям. Действия его, конечно, всего более отражают на себе свойства его ума и привычки дипломата; но оказывали большое влияние и его характер, чрезмерно живой, и его чрезмерная первная неуравновешенность, ярко проявившаяся, между прочим, в одной сцене с Понятовским, о которой стóит упомянуть.

В небольшой компании не особенно близких им людей зашел у них спор о свободе воли и предопределении, — и, по поводу какого-то замечания Понятовского, Вильямс вдруг, с величайшим азартом воскликнул:

— Я не могу допустить, чтобы мне в моем доме так возражали! Прошу вас удалиться и не желаю вас более видеть!

Затем он выбежал вон, хлопнув дверью, и заперся в другой комнате. Компания, в смущении разошлась; Понятовский пытался чрез дверь объясниться с Вильямсом, тот не отвечал; Понятовский был в отчаянии, хотел — он сам это рассказывает — броситься с балкона и уже заносил ногу через перила, как Вильямс выбежал и удержал его, после чего приятели, проливая обильные слезы, примирились. Иногда и в переписке с Екатериною Вильямс, среди самых изысканных, почти кажущихся искренними, излияний преданности, чуть не любви, вдруг, по какому нибудь ничтожному поводу, писал и колкости, даже резкости, каких никто из вообще уравновешенных людей его круга не позволил бы себе писать молодой женщине. Что Вильямс не был человеком, которым бы руководили чрезмерное властолюбие или просто неукротимый и нетерпевший противоречия характер, это доказывается концом его карьеры:

неудача и неудовольствия в Петербурге так его расстроили, что он стал сильно хворать, уезжая, проявил странности, обратившие внимание многих, а в Гамбурге обнаружил явные признаки душевного расстройства и, наконец, то приходя в сознание, то опять его теряя, в октябре 1759 г. покончил жизнь самоубийством. Очевидно, что такой характер не мог не налагать известного отпечатка на действия Вильямса. Вообще говоря, он был человек более чем не глупый, мог быстро и с разных сторон схватывать предметы, но он обладал более умственною ловкостью, чем настоящею умственною силою, не умел смотреть на свои планы и действия с точки зрения других и, если увлекался, то совершенно терял способность отличать внутреннюю сущность фактов от внешнего ее выражения. Он думал, что если можно одержать верх в споре, поставив собеседника словопрением в неловкое положение, то можно этим заставить политического противника и действовать сообразно со своими планами, хотя бы такие действия и были нежелательны и невыгодны тому, кому они навязываются. По приемам Вильямса, по его умственным привычкам и кругозору его можно считать типичным представителем дипломатов XVIII в. Он часто не умел избежать ошибки, свойственной многим и неглупым людям, и особенно, именно тем, кому приходится вести разнообразные и часто меняющиеся сношения со многими лицами: хорошо зная, и не скрывая, что сами они часто говорят не то, что думают, и делают не то, что говорят, такие люди воображают, что никто другой подобных приемов не применяет, особенно, когда имеет дело именно с ними. Вильямс, например, сообщал Екатерине, что отрицает пред Бестужевым некоторые свои действия, Екатерине отлично известные; говорил, что дал канцлеру слово не пересказывать ей одного разговора, но что считает за честь, что слово это нарушает — и в том же письме, через 10 — 15

строк, пренаивно выражал негодование. что ему говорят то, чего нет; находя совершенно простым и естественным, что Англия, когда это представилось ей нужным, отказалась от союза с Австрией, с которою уже более ста лет действовала она постоянно за одно, и перешла на сторону ее бесцеремонного соперника, он отказывался понимать, как может Россия отрекаться от союза с Англией, когда союз этот ведет свое начало от времени не только Петра Великого, а Иоанна Грозного, — он, при этом, забывал, или вернее умалчивал, что союз этот во всяком случае, не оставался с XVI в. непрерывным, так как немедленно после казни Карла I был со стороны России формально расторгнут. Вся переписка Вильямса с Екатериною — это ряд настоятельных попыток вмешиваться в русскую политику и влиять на нее всякими окольными путями, но это не мешает ему писать: «я вмешиваюсь в политику как можно менее». Он высмеивает рассуждения, что соглашение с Францией обеспечит Россию со стороны Турции — хотя уже сотни лет влияние Франции в Константинополе было наиболее сильное — и пугает, что Англия побудит Турцию двинуться на Австрию, и это, де, будет страшным ударом монархии Габсбургов, — хотя тогда влияние Англии на Порту было еще очень проблематично. Вильямс не стеснялся отрицать такой неоспоримый факт, как стремление Фридриха устранить русское влияние на дела Европы, и, сам так много работавший прежде, чтобы составить союз против замыслов Фридриха, начинал уверять, что надвигающаяся война есть не более, как результат мрачных и темных замыслов против короля прусского, который, со своей стороны, действует вполне прямодушно и с соблюдением всякой законности; Вильямс выражал — конечно, только притворяясь — полное доверие к искренности и правдивости объяснений, какие давал Фридрих своим поступкам, хотя объяснения эти явным образом,

более затемняли дело, чем разъясняли что либо, — и т. д., и т. д.

Следить подробно за всеми усилиями Вильямса вернуть Россию к союзу с Англиею—не стóит; действовал он тут с особенною нервностью еще и потому, что английское министерство, сообщая ему Вестминстерский договор, разрушавший достигнутое им соглашение, поставило ему на вид, что при ратификации субсидного договора он, по недосмотру, допустил некоторое умаление чести английского двора; повидимому, тут придано было ничтожному факту значение бóльшее, чем он того заслуживал, именно потому, что министерство само должно было сообщить Вильямсу о таком своем шаге, который мог вызвать у посла не неосновательную критику; Вильямса это замечание очень задело. В своих петербургских переговорах 1756—1757 гг. он производит впечатление положительно комическое и жалкое, когда — говоря употребительным в дипломатической переписке XVIII в. выражением — «приводит в движение небо и землю», чтобы добиться своего, надеясь сам и уверяя других, что он одержит верх над австро-французскими влияниями и «вынырнет именно тогда, когда этого всего менее ожидают»; эти попытки его заслуживают, однако, некоторого внимания, как образец того, какие тогда в дипломатии ставились вопросы, какие употреблялись приемы; они являются до известной степени показателем, чем рассчитывал он повлиять на Екатерину и чего считал возможным достигнуть в России. В переговорах с Бестужевым и Воронцовым Вильямс, конечно, чувствовал себя стесненным: для них было слишком легко указать ему, что еще так недавно он говорил о Пруссии и ее политике совершенно явно с большою враждебностью, и что в переговорах о конвенции не было никакого сомнения, против кого она заключается; но в переписке с Екатериною положение английского посла было выгоднее;

в дипломатических вопросах он, конечно, мог доминировать над своею молодою корреспонденткою. И вот он, касаясь вопроса о гарантии, смело утверждает, что совершенно не понятно, в чем вопрос, и удивительно, как хотят делать какие-то ограничения или толкования, когда дело так ясно, и конвенцию надо понимать без всяких оговорок, прямо по ее буквальному смыслу; высшим представителям администрации он старается внушить, что принятие первого взноса субсидии (100.000 ф. стерл.) решительно ни к чему не обязывает — можно, однако, себе представить, что заговорил бы он, и как заговорил бы, если бы их, действительно, приняли, не изменяя в то же время всей политики. Он старается доказать, что вообще союз с Австрией и Францией вреден для России, и, опираясь на авторитет великой княгини, внушает, что великий князь и великая княгиня будут смотреть как на врагов России на тех, кто этому союзу способствует. Отыскивая способы дать торжество своим мнениям, он то, рисуя Екатерине картину общего положения Европы, доказывает, что России во всех отношениях выгоднее следовать политике Англии и Пруссии, а никак не Франции и Австрии, то вышучивает ожидаемый приезд в Петербург французского посольства, делая вид, будто бы это будет не фактор, беспокойный и опасный для его дипломатической борьбы, а просто появление законодателей моды, желательное и интересное лишь для одних петербургских петиметров. Он стращает Екатерину, что французские дипломаты всегда и всюду вмешиваются во внутренние дела государств, где они появляются, напоминает свежую еще у всех в памяти историю Шетарди, указывает на смуты в Швеции, вызываемые, якобы, единственно французскими интригами, прямо утверждает, что Франция желала бы нарушить установленное Елизаветою престолонаследие, и намекает, что для Екатерины и ее сына очень опасно образование 30000-ного корпуса под начальством одного из при-

верженцев Франции графа П. Шувалова. То он говорит, что война кончится, вероятно, еще до выступления русских как активных ее участников, то рисует страшную для России перспективу, в случае ее поражения, то говорит даже, что торжество Австрии и Франции грозит установлением повсеместно католической веры, — «это», пишет он, «уже не мечта, а обдуманный план»; с поражением бранденбургского дома не останется, уверяет он, в Европе ни одной силы, способной противиться Австрии и Франции, и тогда они немедленно сбросят маску, Россия подпадет под власть этих честолюбивых держав, и они по собственной воле укажут ей роль и место в Европе, — а на другой день, забыв, каким значительным он только что рисовал могущество Австрии и Франции, он начинает уверять, что мир в руках Бестужева, что если бы он пожелал, то и никакой войны не было бы, но что Бестужев нарочно вызывает войну, находя, что во время войны он нужнее и влиятельнее, чем во время мира. Иногда Вильямсу казалось, что усилия его увенчиваются успехом, что ему удалось разъяснить руководителям русской политики истинные пользы России, что мысль о союзе с Францией оставлена, — но скоро он снова должен был убедиться, что ничего не достиг. Предложил он однажды и посредничество России и Англии между Пруссией и Австрией, но это оказалось особенно неудачным шагом: императрице представили проект Вильямса в таком свете, что она очень раздражилась.

Дипломатические шаги, или, прямо сказать, интриги Вильямса интересны особенно в тех пунктах, где он стремился и, действительно, успевал привлечь к участию в своих происках Екатерину: Екатерина писала ему так, что кое в чем заслуживает безусловного порицания: она сообщала Вильямсу свои разговоры с командующим армиею Апраксиным, или то, что узнавала от канцлера, или то, что гово-

рилось на конференции, или даже пересылала ему некоторые бумаги, до нее доходившие. Правда, беседы с Апраксиным были совершенно незначительны; о том, что говорилось в конференции, Екатерина узнавала только от великого князя, а через него ничего важного до нее дойти, конечно, не могло, и по крайней мере один раз оказалось, что Екатерина имела совершенно неверные сведения о том, что там было решено. Что касается Бестужева, то он, конечно, не сообщал великой княгине ничего такого, что считал нужным держать, действительно, в тайне: хотя Вильямс и был уверен, что Бестужев ничего не знает о переписке с ним великой княгини, но Бестужев, несомненно, об этом догадывался и положительно возможно, что он сообщал кое-что великой княгине именно желая, чтобы это стало известно Вильямсу — по крайней мере, он иногда сам говорил английскому послу, что послал такие-то бумаги Екатерине, т. е. как бы наталкивал Вильямса просить их у нее, что тот и делал. И, конечно, не было никакой беды в том, что Вильямс получил от нее копию протокола о приступлении России к версальскому договору, или копию с одной бумаги из Варшавы. Из первой он узнал только о неприятном для него факте, который не мог оставаться долго тайною и против которого он был бессилен, из второй — мог видеть, с чувством досады, что отлично разгаданы его ходы, которые он считал очень тонкими, — и ничего более. Вильямс узнал чрез Екатерину, что когда дошли до императрицы слухи, что Фридрих грозится опубликовать манифест в пользу Иоанна Антоновича, то она сказала:

— А я велю отрубить голову этому Ивану, как только появится такой манифест.

И это только давало корреспондентам повод иронизировать на счет того, как «лаконичен и полон достоинства» этот ответ, но уж Вильямс то отлично знал, что едва ли

какой бы то ни было государь в тогдашней Европе затруднился бы поступить именно так. При дворе замечали, что Вильяме знает кое-что такое, чего обыкновенными путями он узнать не мог, но не видно, чтобы удивлялись важности его сведений. По внушениям Вильямса Екатерина иногда что-то предпринимала по делам голштинским, что-то ставила условием, что-то заявляла, на что то соглашалась, на что-то не соглашалась в вопросе об отмене коадъюторства Любского на графство ольденбургское; но все это так ничтожно, что вполне безразлично, какие бы ни были тут приняты решения. По соглашению с Вильямсом писала Екатерина и гетману графу К. Г. Разумовскому и И. И. Шувалову, но эти письма, или скорее записочки, очень незначительного содержания; почти под диктовку английского посла писала она неприятности и Бестужеву — правда, главным образом, по вопросу о возвращении Понятовского. замедлявшемся, как ей казалось в ее нетерпении, недостаточною заботливостью об этом канцлера, но иногда вставляла такие замечания, как, например, что секретною декларациею Россия обманула английский двор и нанесла непоправимый стыд своей чести. Но если еще в конце XIX в. один из очень видных представителей высшей администрации говорил, что в управлении нельзя стесняться даже между коллегами, а надо действовать решительно и раздавать направо и налево пощечины («правда», прибавлял он, «надо и самому быть готову их получить»), — то человек с характером Бестужева, прошедший школу службы при Бироне, конечно, ни мало не огорчался какими-то упреками от великой княгини, а попросту не обращал на них ни малейшего внимания. Ничего существенного во всем том, что сообщала Екатерина, не было; никакого вреда общему ходу дел, даже в той, чисто внешней сфере государственной жизни, которой только и касалась переписка Екатерины и Вильямса, корреспонденция эта не причинила;

но, тем не менее, Екатерина, конечно, не должна была говорить Вильямсу многого, что говорила.

Особенно же не должна была Екатерина вступать в денежные отношения с Вильямсом; они ее, действительно, почти позорят, а Вильямс, со своей стороны, совершал положительно неблаговидный поступок, вовлекая в них молодую женщину, которой он так много говорил о своем восхищении ею, о своем уважении к ней, что в самом деле, мог внушить ей уверенность в своем искреннем расположении и мысль, что он не посоветует ей ничего дурного, но ничего этого не было. Если бы Вильямс питал к Екатерине действительно доброе чувство, он, конечно, не мог бы не только толкать ее на такой поступок, а, напротив всячески ее от него удерживал бы; он понимал и любовь, и почтение, и дружбу, в которых так часто уверял Екатерину, не в простом, общечеловеческом значении этих слов, а в том, какое придается им в «свете», а тем более в кругу и на языке дипломатов, — и он устроил Екатерине заем в 10.000 ф. стерл. у английского короля и, может быть, внушил ей мысль принимать ежегодную пенсию. В письме от 20 августа 1756 г. он сообщал ей, что король «согласился на все», чего она просила в письме 9 июня — письма этого в недавно опубликованной корреспонденции нет — и прислал для нее 10.000 ф. ст.; затем в переписке Вильямса и Екатерины неоднократно говорится об употреблении этих денег, значительная часть которых пошла на покрытие ранее сделанного Екатериною займа у английского резидента Вольфа, а в письме от мая 1757 г. Екатерина, с явными признаками большого конфуза, просила Вильямса:

«Устройте, если можно, чтобы мне выдали вперед такую же сумму, какую я получила, и, если возможно, чтобы это было в еще бо́льшем секрете, чем в первый раз; нельзя ли это получить так, чтобы здесь никто не знал, что это для меня, а думали бы, что это для вас».

Почти несомненно, что этой второй подачки Екатерина не получила: Вильямс скоро уехал, шла уже война; что касается первого займа, то по нему было уплачено.

Малым извинением Екатерине служит то, что в XVII, и частью даже в XVIII вв. на такие случаи смотрели очень спокойно; английские короли Карл II и Иаков II, в самом конце XVII в. постоянно получали от Франции очень большие субсидии лично для себя и сами их выпрашивали; множество германских владетелей положительно жили на субсидии Франции в XVII в.; отчасти извиняет Екатерину то, что все это, действительно, представлялось ей в совершенно невинном свете: заем не был тайною от канцлера, и она, повидимому, видела тут именно только заем у друга, который охотно помогает из чувств личной симпатии, помимо каких-либо других соображений.

Надо — отчасти к чести Екатерины — сказать и следующее. В то самое время, когда она вступала в такие сношения с английским послом, датский министр граф Бернсторф, пользовавшийся громкою славою, как в высшей степени просвещенный и честный государственный деятель, счел возможным завести чрез Бестужева речь о том, что в случае согласного с желаниями датского двора разрешения споров о голштинских делах датский король готов выплачивать матери великой княгини пожизненно по 6.000 червонцев в год и предлагает лично великой княгине, на покрытие каких-либо особых расходов 100.000 р. Екатерина пришла от этих предложений в сильное негодование и отвечала в тоне и выражениях, резче которых, положительно, нельзя было употребить.

Пришлось ей и еще один раз высказаться по такому же поводу: в 1775 г. английский посланник заговорил о том, что нельзя ли за деньги получить корпус русских войск для войны в Северной Америке, — ему был дан ответ в выра-

жениях, положительно оскорбительных для того, кто предложение такое сделал. Это дает основание думать, что если Екатерина один раз поставила себя в денежном вопросе в положение недостойное, то скоро поняла это и более подобной ошибки уже не повторила.

Интригуя в Петербурге, Вильямс больше всего сталкивался с канцлером Бестужевым и больше всего на него негодовал. Он постоянно думал; что, если бы не Бестужев, все изменилось бы; поэтому Вильямс вступал в роль Шетарди, которую сам же выставлял Екатерине столь вредною и недостойною, и постоянно хлопотал, как бы вырвать влияние и власть у Бестужева. Но тут ему не удавалось ничего достичь. В уменьи вести интригу, подводить своих врагов, обманывать соперников, старый русский канцлер далеко превосходил английского посла. Много раз Вильямс высказывал надежду, что ему удастся, наконец, добиться от канцлера того или другого — и в конце концов приходилось ему сознаться, что или он ничего не достиг, или сам же был поставлен канцлером, над которым надеялся торжествовать, в невыгодное и неловкое положение. Особенно старался Вильямс возбудить против Бестужева Екатерину, утверждая, что это он оттягивает возвращение Понятовского. Такие внушения временно действовали на молодую влюбленную женщину, но, в общем, Екатерина оценивала Бестужева все-таки по своему, и оценивала вернее. Свергнуть Бестужева Вильямсу не удалось; союз с Францией был подписан, война началась, уехать из Петербурга пришлось Вильямсу, и прежде еще, чем он покинул Россию, русское войско одержало серьезную победу над прусским, чего Вильямс никак не ожидал. Бестужев удалился с политической арены уже полгода спустя после отъезда Вильямса.

Канцлер граф А. П. Бестужев-Рюмин представляет собою самую крупную фигуру в правящих кругах России за время от Петра Великого до Екатерины II. Основные черты его характера и деятельности достаточно известны; вновь обнародованные материалы дают, однако, несколько дополнений, дорисовывающих фигуру этого выдающегося человека.

Алексей Петрович Бестужев-Рюмин родился в 1694 г. По воле Петра Великого он еще в юношеском возрасте был отправлен за границу в числе тех молодых дворян, которых посылали тогда в иностранные государства, чтобы получить там образование — и общее, и политическое, и гражданское, ознакомиться с практикою государственных учреждений и привыкнуть вообще к западно-европейской жизни. Бестужев, попавший в Ганновер, обнаружил такие способности, такой интерес к делам и такую ревность в работе, что курфирст ганноверский, сделавшись в 1714 г. английским королем, отправил Бестужева в Петербург с объявлением о своем восшествии на престол. Петру Великому было чрезвычайно приятно, что молодой русский удостоился такой чести со стороны иностранного государя, и с тех пор он неизменно оказывал Бестужеву свое расположение, чего этот, действительно, и заслуживал, как образцовый работник; едва достигши 30 лет, он был уже резидентом в Гамбурге, затем исполнял серьезные дипломатические поручения при дворах датском и шведском. В царствование Анны Иоанновны Бестужев занял очень видное место; не отличаясь щепетильностью, он служил и при Бироне и ярко выделялся среди тех, чьими услугами приходилось пользоваться тогдашнему ничтожному правительству. Когда Миних сверг свирепого регента, Бестужев, как один из виднейших его помощников, был арестован; с падением Миниха он был освобожден; Елизавета, возведенная на престол молодыми людьми, оказала Бестужеву

особое внимание, как опытному дельцу, являвшемуся представителем традиций ее отца, и возвела его в сан канцлера. На этом посту он быстро стал играть руководящую роль во внешней политике и приобрел огромное влияние вообще. Его политические идеи и приемы не отличались ни глубиною, ни широтою, ни оригинальностью: иметь слабых соседей, доминировать над ними, по возможности, при каждом случае совместных действий — вот к чему, собственно говоря, сводились они; но ярко выделяло Бестужева между другими тогдашними деятелями его стремление способствовать усилению России, ее пользе и славе;— другой вопрос, правильно ли он то и другое понимал; но по общему признанию польза и честь России стояли для него, действительно, на первом плане.

Понятно, что вновь возникшее в Европе королевство прусское сделалось объектом особого недоброжелательства со стороны Бестужева: Россия после всех других государств и так еще недавно заняла видное место среди европейских держав; поэтому представлялось опасным, что именно она должна будет умалиться в своем значении, если выдвинется в семье европейских народов новый могущественный член. Начав свою деятельность среди людей, которые еще живо помнили, с какими усилиями и жертвами добился Фридрих I королевского титула, Бестужев не мог примиряться со слишком быстро возрастающим значением Пруссии, и особенно недоброжелательно смотрел, когда Пруссия добивалась видного места со всею энергиею и настойчивостью, свойственными северным немцам, с бесцеремонностью и грубоватостью приемов, присущими всему гогенцоллернскому дому, а, с тех пор, как воцарился Фридрих II — и с такою неразборчивостью в средствах, которая, применяй ее частный человек, вероятно привела бы его, рано или поздно, на скамью подсудимых. Основным принципом своей политики, которого

держался неизменно, Бестужев ставил высказанное еще Остерманом положение, что Пруссия должна быть для России, по отношению к остальной Европе, как бы вьючным животным. Бестужев унаследовал еще при Петре Великом определившиеся отношения: Франция — наш враг, потому что, в своей исконной борьбе против Австрии, она естественный союзник Польши и Турции, как соседей Австрии и Швеции, как государства, долго стоявшего во главе немецких протестантов; Франции выгодно усиление этих ее союзников, а нам невыгодно это усиление наших соседей; постоянные соперники Франции — Англия и Австрия — по тому самому естественные наши союзники. С появлением в числе великих держав Пруссии произошли в группировке их изменения и Франция и Англия заняли относительно Пруссии диаметрально противоположное положение; но для Бестужева не было колебаний относительно их: он решительно порывал с прежним союзником и соединялся с прежним соперником; борьба с Пруссией стояла для него всегда на первом плане; постоянство в этом отношении особенно выгодно отличало Бестужева от других тогдашних русских администраторов, которые способны были работать, в полном смысле слова, только изо-дня в день, применяясь лишь к случайно возникавшим, часто совершенно незначительным обстоятельствам; или, как верно заметил однажды Вильямс, «управлялись ходом событий, а не действовали по последовательному плану и по разработанной системе». Сам он, впрочем, со своей стороны противоставлял этому порицаемому им способу действий ни что иное, как ряд интриг такого же характера и значения, только в другом направлении.

Бестужев имел множество врагов, — не потому, чтобы многие принципиально расходились с его направлением и деятельностью, а потому что у него был очень тяжелый и

неприятный характер. Очень умный, энергичный и властный, он был совершенно неразборчив в средствах и хотел всегда не только руководить людьми, но непременно сгибать их волю.

Он был почти один.

Верным его сторонником был барон Черкасов, служивший еще при Петре Великом секретарем его кабинета, человек, пользовавшийся общим уважением за твердость, честность и за знакомство с делами государственного управления; но к описываемому времени Черкасов уже умер. Были хороши с Бестужевым оба графа Разумовские, старший, обер-егермейстер, бывший фаворит, и младший, получивший по фавору брата звание гетмана; они высоко стояли в обществе по своему положению и богатству, были, быть может, наиболее благородными людьми среди лиц тогдашней высшей администрации, но именно по благородству своего характера, а еще более по своей беспечности и лености являлись столь же мало и опасными врагами. Был хорош с Бестужевым С. О. Апраксин, но он, как личность, был незначителен.

Противниками Бестужева являлись почти все высшие сановники, которые постоянно имели с ним дело и потому постоянно испытывали его тяжелый характер. Первое место между ними занимал вице-канцлер граф М. И. Воронцов, близкий пособник Елизаветы Петровны при самом восшествии ее на престол, с тех самых пор неизменно приближенный к ней человек, а по жене и родственник; затем шли два брата графы П. И. и А. И. Шуваловы, тоже участники возведения Елизаветы Петровны на престол; из них первый, человек очень способный, имел большой вес в делах финансовых и военных, а второй, менее даровитый, но внушавший страх своею решительностью и суровостью, начальник Тайной канцелярии, являлся, таким образом, охранителем безопасности императрицы. С ними дер-

жался близко, отчасти по неволе, и их двоюродный брат, тогдашний фаворит И. И. Шувалов; по характеру и по убеждениям он стоял значительно выше своих родственников, которые преследовали личные цели и заботились более всего о своем обогащении; но к нему враждебно относился Бестужев, не терпевший, чтобы кто-либо помимо него пользовался влиянием при императрице, и этим сам толкал И. И. Шувалова в ряды своих врагов. К числу их принадлежал и князь Н. Ю. Трубецкой, стоявший, как генерал-прокурор, во главе всего гражданского управления, человек не особенно выдающийся, но ловкий царедворец, влиятельный и по своему обширному и богатому родству. К ним примыкали лейб-хирург Лесток и несколько других лиц, не занимавших особенно видных постов, но близких к императрице.

Дурные отношения долго держались у Бестужева и с молодым двором, а в частности с великою княгинею. К ней Бестужев относился недоброжелательно с самых первых дней появления ее в России. Он имел в виду другую невесту для великого князя и был настроен против Екатерины, во-первых, потому, что она была не его кандидатка, а во-вторых, и еще более потому, что опасался найти в ней креатуру и сторонницу Фридриха. Екатерина постоянно чувствовала мелкие проявления недоброжелательства Бестужева, который не останавливался пред поступками совершенно неблаговидными.

Однажды, например, когда Екатерина очень горевала после смерти отца, церемониймейстер граф Санти, по внушению Бестужева, официально доложил, будто великая княгиня недовольна тем, что иностранные послы не сделали ей визитов по поводу ее траура; императрица, как Бестужев и предвидел, была очень раздражена такими непомерными, по ее мнению, притязаниями Екатерины; великой княгине грозили серьезные неприятности, и спасло

ее от них лишь то, что граф Санти имел благородство и мужество прямо сознаться, что он не слыхал от великой княгини никаких заявлений по этому поводу, а только сам так осмыслил ее поведение; все знали, что действовал тут Бестужев, но он как-то сумел избежать гнева императрицы.

В начале 50-х годов между канплером и великою княгинею произошло некоторое сближение: с одной стороны Бестужев понял, что как ни много было в поведении великой княгини легкомысленного и даже неразумного, она по своим дарованиям все-таки выше всех других, кто имел тогда возможность влиять на дела; со своей стороны и Екатерина около времени своего романа с Салтыковым, желая не иметь такого человека как Бестужев в числе своих врагов, и нуждаясь постоянно в его содействии по делам Голштинии, сделала несколько шагов, которые должны были ему показать, что она «не так далека от него, как прежде»; с расположением, какое проявляла к канцлеру великая княгиня, многие все-таки считались, и в иных случаях он встречал поэтому менее противодействия со стороны своих врагов, чем прежде, — это не раз прямо отмечает Вильямс. Вообще же Бестужева все опасались и тем более опасались, чем более его ненавидели и чем более широкие планы у него предполагали.

Впрочем, нельзя говорить о полной искренности между Бестужевым и Екатериной; когда Вильямс называл Бестужева «скользким угрем», Екатерина не возражала против такого определения; она говорила только, что он «все-таки, уловим»; иногда и Екатерина в своей переписке с Вильямсом называет Бестужева «железным человеком», даже «проклятым человеком», — правда, лишь тогда, когда ей казалось, что он делает для возвращения Понятовского менее, чем мог бы сделать; — это показывает, как она раздражалась по этому поводу, и как велико

было, по ее мнению, значение Бестужева, но вообще Екатерина отзывается о Бестужеве лучше, чем кто-либо другой: она в записках называет его патриотом, она была убеждена — и не ошибалась, — что он не предаст ее, она уверяла Вильямса, что, зная «гордость канцлера, его таланты, его заботу о благе родины, невозможно допустить», что он действует против Пруссии только потому, что «слепо предан Австрии».

Она решительно защищает его от обвинений в подкупности, которые высказывались часто и очень утвердительно, но должны быть, в действительности, признаны неубедительными. То, что Фридрих и Вильямс рассчитывали Бестужева подкупить, что Вильямс даже пытался это сделать, вовсе еще не доказывает, что Бестужев был подкуплен; рассказы Вильямса, скорее, свидетельствуют именно о противном. Он, например, пишет однажды, что старался доказать Бестужеву, что был бы полезен приезд в Петербург прусского посла, но канцлер прямо сказал, что не допустит этого; «какая-то высшая сила его удерживает», изумлялся Вильямс, добавляя, что «предложения» его были «очень значительны», и что на следующий раз он еще повысит их. Через 10 дней он писал, что «делал самые щедрые и разумные предложения», но канцлер «только пожимает плечами». Значит, и по сообщению Вильямса, Бестужев не соглашался принять деньги, — неужели же можно говорить о его подкупности на основании рассказа Вильямса, что на другой день к нему пришел Вольф, английский резидент, и сказал, что Бестужев его к себе вызывал и просил устроит ему пенсию от английского короля? Где какое-либо доказательство, что Вольф, или может быть и сам Вильямс, не «осмыслили» тут слова Бестужева, подобно тому, как, например, поступил граф Санти относительно Екатерины? Не невозможно и то, что Бестужев ставил тут Вильямсу какую-нибудь ловушку.

Вильямс писал Екатерине, что имеет в своем распоряжении «очень крупные суммы», но чтобы Бестужев от него что-нибудь из них получал,—этого он не говорит; положительно инсинуацией, даже клеветой отзываются слова Вильямса, будто Бестужев «ежедневно присылает» просить у него денег: почему же это Вильямс не давал Бестужеву тогда, когда этот их просил, если сам же раньше их предлагал? Повидимому, он тут точно так же противоречил себе и делал вымышленные сообщения, как не раз поступал в переписке с Екатериною и в других случаях; толкование какого-то совершенно незначительного шага Бестужева в том смысле, что это есть результат предложения ему 12.000 р., есть, в лучшем случае, свидетельство того, что так понимали этот шаг Бестужева те, кто имели с ним дело, у Бестужева же могли быть свои цели, ничего общего с денежным вопросом не имеющие; жалобы Вильямса, упреки и брань его по адресу Бестужева были бы, несомненно, гораздо более ожесточенны и язвительны, если бы он брал и вместе с тем противодействовал тому, у кого брал. Екатерина, в замечаниях на книгу аббата Денины о жизни и царствовании Фридриха II, дважды коснулась вопроса о честности Бестужева. Один раз, по поводу сообщения, что Фридрих предлагал Бестужеву 100.000 червонцев, она написала:

«Это очень сомнительно; если бы ходил такой слух, то его одного было бы достаточно, чтобы сделать из Бестужева непримиримого врага».

В другом месте, по поводу слов Денины, что на Бестужева оказали более сильное действие деньги Австрии и Франции, чем деньги Пруссии, она заметила:

«Это опять ложь; Бестужев был настойчив, упрям и никогда нельзя было подкупить его деньгами».

Нельзя предполагать у Екатерины тут желания во что бы то ни стало отрицать подкупность русских министров: не-

много ниже, при замечании о Воронцове, она написала, что он был «отъявленный лицемер; он то и служил тому, кто более давал; нет двора, который бы ему не платил».

Интересны по этому вопросу слова Понятовского, который близко знал Бестужева. Он говорит: «Упрямый во всем, Бестужев был всю жизнь преданнейшим сторонником Австрии и пруссофобом. Он отверг поэтому миллионы, которые предлагал ему король прусский; но он не стеснялся принимать, и даже просить, когда имел дело с послами Австрии, Англии или Саксонии, вообще с двором, которому он считал нужным благоволить для выгоды своего двора. Брать с дружественного двора — это было по его мнению не только «правило игры», но являлось, до некоторой степени, как бы выражением почтения к его собственной нации, славы которой он, действительно, по своему искал».

Повидимому, это и есть верное толкование всего поведения Бестужева; оно примиряет противоречивые отзывы, примиряет их на почве, вполне соответствующей духу того времени и взглядам тогдашних русских людей: Татищев, современник Бестужева, не усумнился перед самим Петром развивать совершенно такой же взгляд, утверждая, что служащий вовсе не совершает ничего незаконного, если принимает от правой стороны вознаграждение, за то, что посвятит делу часы работы, сверх обязательных для него по закону, и двинет дело быстрее!

Стоит привести и остальные замечания Понятовского о Бестужеве: они дают самую любопытную, и самую верную характеристику канцлера, а вместе с тем представляют едва-ли и не самые лучшие страницы мемуаров Понятовского. Вот они:

«Пока Бестужев не воодушевлялся, он не мог связно сказать и несколько слов: как-то запинался. Но когда разговор его увлекал, он находил слова и выражения, правда,

очень неправильные, но полные огня и энергии; его маленькие глаза тогда блестели; рот, в котором сохранились лишь остатки нескольких зубов, а на бледно-сером лице какие-то пятна делали его ужасным, когда он сердился, что случалось очень часто, а когда он смеялся, то это был, поистине, чисто сатанинский смех. Он хорошо владел французским языком, но охотнее говорил по немецки. Почти неспособный сам написать что-нибудь и не зная, можно сказать, ничего, он, по какому-то инстинкту судил почти всегда правильно о работе других. Он, например, не имел решительно никакого понятия об искусстве, но можно было держать пари, что из многих рисунков он выберет лучший. Господствовать без препятствий было его страстью. Он не был неспособен и к поступкам благородным — потому именно, что чувствовал хорошее во всяком роде, — но ему казалось так естественным устранять все, что препятствовало его намерениям, что его совсем не стесняло, какие приходится при этом употреблять средства; жестокое правление, при котором он вырос, еще ожесточило его нрав. Оказывая часто тем, кого он называл своими друзьями, разные услуги, иногда путями неблаговидными, он находил очень странным, чтобы кто-нибудь мог при этом стесняться какими-нибудь мелочами». Сделав затем объяснение поступков Бестужева в вопросе о подарках или пенсиях, выше приведенное, Понятовский заключает свою характеристику сообщением, что Бестужев «почти ежедневно к вечеру напивался с двумя-тремя доверенными собеседниками — и это очень вредило ему в глазах императрицы, которая очень не любила пьяных. Вильямсу тоже не раз приходилось беседовать с канцлером, когда он был совсем не трезв.

Что касается падения Бестужева, то это обстоятельство давно уже в подробностях рассмотрено, и новые материалы не содержат о нем ничего ценного, но дают

несколько второстепенных, однако любопытных замечаний.

«Последний удар Бестужеву», говорит Понятовский, был нанесен французским послом Лопиталем, который, после того, как было сделано уже много попыток очернить канцлера в глазах императрицы, на одном балу прямо сказал ей с самым серьезным видом:

— Государыня, при вашем дворе есть человек, крайне опасный для вас.

И на тревожный вопрос, кто же это, — назвал Бестужева.

Далее он говорит:

«Бестужев, предупрежденный, что тучи сгущаются, пересмотрел свои бумаги, сжег все, что считал нужным уничтожить, и полагал, что он столько сделал для своей безопасности, что, когда он был в покоях императрицы арестован, он не проявил ни испуга, ни гнева, и в течение нескольких недель и в поступках и в словах являлся не только спокойным, но почти веселым и несколько раз даже грозил своим врагам мщением в будущем. Императрица, видя, что не находят ничего, что доказывало бы какое-нибудь государственное преступление Бестужева, стала уже сожалеть, что приказала его арестовать; его враги начинали уже сами бояться, когда вдруг Елизавета приказала допросить Бестужева, просил ли он у графа Брюля об ордене Белого Орла голштинскому министру Петра Федоровича Штамбке. Этот Штамбке был креатурой Бестужева и человеком, очень преданным великой княгине. Я не понимаю, с какой стати Бестужев начал отрицать этот факт. Елизавета велела повторить ему этот вопрос несколько раз, и Бестужев все упорнее и упорнее стоял на своем отрицании, до того, что заявил, что готов какою угодно присягою подтвердить правдивость своего утверждения. Тогда ему предъявили записку его руки, писанную карандашем к его секретарю,

в которой он напоминал, чтобы он не забыл его поручения на этот счет. Очевидно этот клочок бумаги ускользнул от Бестужева по недосмотру, когда он просматривал свои бумаги, относительно которых он был уверен, что он их сжег. Эта ложная присяга, на которую Бестужев вызывался сам и по такому ничтожному поводу, очень повредила ему в глазах императрицы, он и сам понизил тон и смутился, когда увидел, что он уличен».

Теперь несомненно, что Бестужев был удален не потому, что открылась какая-нибудь его вина, а потому, что представился к этому повод, когда Апраксин, близкий Бестужеву человек, одержав победу, вдруг стал отступать. Впоследствии было доказано, что, по военным соображениям, отступление это было необходимо; но тогда оно удивило всех и раздосадовало императрицу. При следствии у Апраксина были найдены письма Екатерины, где великая княгиня убеждала его немедленно напасть на пруссаков и всячески вредить им; по словам Понятовского они первоначально произвели на императрицу хорошее впечатление, но потом ей внушили, что письма эти написаны человеку, вполне преданному великой княгине, как бы с обещанием милостей в будущем, в зависимости от поведения его на войне, и что тут пахнет заговором. Повидимому, пошли какие-то слухи, что у Бестужева есть какой-то проект о престолонаследии, и уверенность, что у Бестужева окажется какой-то документ подобного содержания, была так велика, что в первом манифесте по поводу ареста канцлера, в конце февраля, было даже сказано, что у него найдены писанные его рукою «проекты, содержащие такие дальновидные замыслы и расположения, которыми он явно показывает недоброхотство к особе и здравию императрицы». Но ничего подобного не оказалось; после почти трехмесячных тщательных поисков и допросов, производившихся все недругами Бестужева, следователи — князь Трубецкой, граф А. Шува-

лов и Бутурлин — представили императрице доклад, в котором «как пред богом» удостоверяли, что «никаких признаков нет», чтобы Бестужев «умышлял что-либо против здравия и благополучия» императрицы; о таких винах не говорится и в манифесте о его осуждении; уже давно известно, что Бестужев «все сжег»; теперь можно утверждать, что сожженные им бумаги исходили не от него, а от великой княгини; но об этом в подробности далее, а теперь кинем взгляд на последние годы жизни Бестужева.

Четыре с небольшим года прожил Бестужев в своем подмосковном имении Горетово, в неособенно тяжелой ссылке, хотя в книжке: «Стихи, избранные из Св. Писания, служащие к утешению всякого христианина, неповинно претерпевающего заключения», изданной в 1764 г., он именует себя Горемыковым.

Скончалась императрица Елизавета. Опальный канцлер, как старый слуга, наверно искренно пожалел дочь Петра Великого, не недостойную своего отца, хотя иногда она и действовала более как взбалмошная барыня, чем как государыня великой империи. Как ни страдало честолюбие старика, он не мог не чувствовать известного удовлетворения, видя, что полностью продолжают следовать его политике, вероятно, находил только, что проявляют меньше энергии, чем надо и чем проявил бы он сам. Конечно, испытывал он злобную радость, когда ненавистный ему король прусский был приведен почти в крайность.

Наступило царствование Петра III. Его действия не могли не возмущать Бестужева, который презирал этого немецкого князька на русском престоле и за личное его ничтожество и за его пруссофильство; может быть, было у Бестужева основание винить Петра и в своем личном несчастии... Государь, со своей стороны платил ему тоже нерасположением — и за недостатки его личного характера,

и за его крупные достоинства, а всего более — за его ненависть к Пруссии; может быть и он чувствовал себя пред Бестужевым лично неловко; как бы то ни было, освободив всех, кто пострадал при Елизавете в политической борьбе, Бестужева он оставил в ссылке. Бестужев, конечно, понимал, что такое правление, каково было царствование Петра Федоровича, продолжительно быть не может; это было ясно наблюдателям и менее, чем он, проницательным и менее знавшим Петра.

Так и случилось; престол заняла Екатерина, о предоставлении которой первой роли в правительстве уже давно была речь. Бестужев немедленно был освобожден, получил обратно чины, ордена, наименование фельдмаршала. К коронации, в сентябре 1762 г., он занимал уже первое место среди окружавших государыню вельмож и видел знаки особенной ее милости. Но не осуществились расчеты, которых честолюбивый старик не мог не питать: прежнего влияния на дела он не получил; новые люди окружали новую государыню, владели ее доверием, помогали ей в управлении; старый канцлер призывался в важнейшие совещания, происходившие при дворе, но, «Бестужев почти не имеет кредита у меня, и я советуюсь с ним только для вида», писала Екатерина Понятовскому, верно передавая факт, только подчеркивая его может быть потому, что Понятовский как-то назвал себя «интимным другом» канцлера — едва ли не на том основании, что к нему, как к хорошенькому мальчику, да еще приносившему счастье в картах, благоволила жена канцлера, которую тот называл, не без основания, Ксантипою и любил.

Бестужев был теперь уже стар, ему было почти 70 лет, а русские люди и теперь стареют вообще рано, в XVIII же веке и еще раньше слабели и утрачивали работоспособность; вынужденное бездействие истомило старого канцлера более, чем самый усиленный труд; огорчало и угнетало его бес-

путное поведение его единственного сына, который своими безобразиями возмущал даже тогдашнее, в этом отношении очень снисходительное общество; за годы ссылки не уменьшилась у Бестужева и его прежняя неумеренность в вине.

В 1767 г. Бестужев и умер, унося по себе память как о личности крупной, как о человеке замечательных дарований, но не оставив друзей и любящих, потому что он совершенно не имел тех качеств, которые привлекают сердца. Не образовал он и школы дипломатов, не приготовил сам себе преемника, которому бы завещал свои идеи, свои идеалы и приемы, но его дело попало в руки вполне достойные и более мягкие и чистые — в руки Н. И. Панина.

О великом князе Петре Федоровиче новые материалы говорят сравнительно немного. Он выступает в них всегда лишь в том или другом отношении к Екатерине, и все, что тут сказано о нем сколько-нибудь значительного или нового, частью уже изложено выше, частью будет изложено далее. Но в одном отношении переписка Екатерины с Вильямсом ведет к заключению, важному вообще для истории этого несчастного государя: она укрепляет уверенность, что факты, рассказанные о нем в записках Екатерины, рассказаны верно. И такое подтверждение вовсе не лишнее. Хотя сознательных искажений не было замечено в записках императрицы и ранее, но так как они составлены гораздо позднее, то возможно было сомнение: не допускала ли в них императрица умышленно если не неверностей, то хотя бы известного освещения, чтобы объяснить и оправдать свое последующее поведение относительно мужа; окраску, не вполне соответствующую действительности; иные факты могли получить в ее изложении даже и без

умысла с ее стороны. Поэтому сопоставлять два исходящие от Екатерины разновременные изображения одного и того же факта очень важно: сравнение их дает возможность определить, насколько желала и умела она изложить события соответственно тому, как они совершались в действительности. Такое сравнение оказывается весьма благоприятным для Екатерины как свидетельницы: в переписке, современной событиям, все факты, о которых Екатерина говорит и позже, изложены совершенно в том же виде, с тем же характером, какой получили они под пером Екатерины и 40 лет спустя. В переписке с Вильямсом совершенно подтверждаются сообщения Екатерины в ее записках, что она внимательно относилась к голштинским делам мужа, который передал ей все управление ими, казавшееся ему чересчур скучным, формально предписав своему министру в Петербурге докладывать дела великой княгине, что до конца 50-х годов, несмотря на то, что их семейная жизнь была разрушена, Петр Федорович сохранял доверие к ее решениям и советам в серьезных делах и, называя ее Madame la Ressource, неизменно спрашивал ее мнений во всех затруднительных случаях. И в записках и в переписке совершенно одинаково отношение к Брокдорфу; в переписке говорится о предположении Екатерины подать императрице Елизавете письменное изложение того вреда, какой причиняется стране управлением Шуваловых, в записках упомянуто о том, что такого рода бумага была составлена для великого князя. Такое совпадение показаний, сделанных чуть ли не полвека спустя, с тем изображением, какое дано было событиям одновременно с тем, как они происходили, очень серьезное доказательство правдивости позднейшего изложения. И здесь, в рассказе о жизни Екатерины не неуместно будет представить, как слагались, развивались и, наконец, порвались семейные отношения великокняжеской четы, признавая слова императрицы за показания

вполне верные и не делая отступлений для критики и подтверждения их в каждом отдельном случае, тем более, что в общем ее рассказы очень жизненны и психологически ясны [1].

Екатерина была на 14 месяцев моложе своего мужа: она родилась 21 апреля 1729 г., он — 10 февраля 1728; они были между собою троюродные; ее мать была двоюродною сестрою его отца.

Впервые они встретились у общих родственников летом 1739 г. Петр тогда «скорее понравился» своей кузине; хилый, слабый мальчик, он «казался благовоспитанным и остроумным», был «жив и любезен»; «чудеса рассказывали о нем»; впрочем, иные уже тогда говорили о его упрямстве и вспыльчивости, толковали будто уже с 10 лет он проявляет склонность к вину.

Ему предстояло занять шведский престол, и его «понуждали к чрезмерному представительству», так что он «завидовал свободе», какою пользовалась его маленькая кузина. Серьезного, умного воспитателя у него не было, и иные утверждали, будто с тех пор, как стало известно ре-

---

[1] В записках Екатерины есть иногда умолчания, но умышленно неверных показаний, сколько-нибудь существенных, не замечено; разноречия в подробностях вполне объяснимы тем, что одна редакция записок относится к концу 50-х годов, другая — к середине 80-х, а третья — к 90-м годам; к тому же редакции эти представляют не один и тот же текст в различных стадиях его обработки, а полностью писаны заново; Екатерина, желая изменить что-нибудь в написанном, вообще охотнее писала целые, довольно даже обширные отрывки заново, чем переправляла написанный текст. Наиболее различаются в переписке и в записках отзывы о Фридрихе прусском: в последних, а также и в позднейшей корреспонденции, Екатерина говорит о Фридрихе недружелюбно, Вильямсу же пишет о нем с большим почтением, отзывается о нем чуть ли не как такая же поклонница, каким поклонником его был великий князь. Но Понятовский положительно свидетельствует, что и в то время великая княгиня отнюдь не была пруссофилкой. Вполне возможно, что в письмах к Вильямсу Екатерина соблюдала относительно Фридриха такой тон, чтобы не задевать самолюбие Вильямса; в его помощи она нуждалась, а он, принужденный резко изменить свое поведение относительно короля прусского, был в этом пункте очень щекотлив.

шение императрицы Елизаветы объявить его наследником русского престола, окружавшие его сторонники шведской партии «приложили столько же стараний испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботились ранее сделать его достойным шведской короны».

Уже тогда Екатерина слыхала разговоры, что молодой Карл-Петр-Ульрих возможный ее жених; находили, впрочем, что для него нужна невеста богаче; с тех пор, как он стал русским наследником, этого рода затруднения отпали. Неудивительно, что когда 1 января 1744 г. получено было матерью Екатерины от императрицы Елизаветы приглашение ее с дочерью в Петербург, не только родители немедленно согласились, но и сама Екатерина, бывшая тогда уже 15 лет, понимала, в чем дело, и шутила, что по анаграмме своего имени нагадала, что будет женой императора Петра III.

Вечером 9 февраля 1744 г. приехали принцессы в Москву и были очень любезно приняты императрицею и великим князем. Первое впечатление молодых людей было обоюдно приятное. Екатерине Петр «не совсем не нравился»; она нашла его красивым и была склонна верить тому хорошему, что «так часто слышала о нем». Он, со своей стороны, будто бы не спал следующую ночь от волнений этого вечера и сказал своему воспитателю, что не хочет жениться ни на ком другом, кроме этой своей кузины. Впрочем, великий князь, несмотря на свои 16 лет, был совсем «еще ребенок во всех своих речах»: он говорил с молодою кузиною об игрушках и солдатиках, которыми был занят с утра до вечера; она «слушала его из вежливости», хотя «часто зевала, не отдавая себе в том отчета»; «так как он говорил только о том, что сам любил», то говорил подолгу и с охотой; «многие, особенно те, которые желали этого брака, видели тут настоящую привязанность», но никогда не привелось Екатерине со своим женихом «говорить языком любви».

«Если бы я» — говорит она — «и почувствовала нежность, то врожденная гордость помешала бы мне сделать первый шаг».

Он же о том и не помышлял, и это, прибавляет Екатерина, не очень то располагало в его пользу.

Только каких-нибудь дней десять великий князь был повнимательнее со своей кузиной; вскоре заговорил он с нею уже о том, что всего более нравится ему в ней, что она его троюродная сестра, и он может говорить с нею совершенно свободно, — и он сообщил, что влюблен в некую Лопухину, и хотел бы на ней жениться, но что женится и на кузине, так как этого хочет его тетка. Екатерина слушала краснея эти родственные излияния, благодарила за доверие, но в глубине души «взирала с изумлением на его неразумие».

Осенью того же года великий князь болел корью, вскоре перенес еще и сильную оспу; за это время он очень вырос, но оспа очень тяжело отразилась на нем: он подурнел, как-то огрубел лицом, стал производить чуть не отталкивающее впечатление; психически он пострадал еще более: он совершенно остановился в развитии, и в характере его получили преобладание такие черты и задатки, которые могут быть извиняемы в ребенке, но должны ослабевать и сглаживаться, когда человек растет и развивается нормально. Естественно, что чувства к нему его невесты не стали более глубоки.

«Я не могу сказать», говорит Екатерина об этом времени, «чтобы он мне нравился, или не нравился; я умела только повиноваться».

В августе 1745 г. молодых людей повенчали; мужу было 17 лет, жене — 16 и 4 месяца. Довольно долго между ними сохранялись отношения не хуже тех, какие установились в самом начале их знакомства. Великий князь находил удовольствие в обществе жены, принимал ее сторону,

нее обрушивался неосновательно гнев ее взбалмош-
бестактной матери или другая подобного рода мел-
приятность, имел с нею общие симпатии и антипа-
был откровенен, даже в таком случае, как выше рас-
ный эпизод с Петром Чернышевым.

и дворе, если кто-либо из служащих великого князя
ликой княгини привлекал их расположение, того не-
но отстраняли; Екатерина переносила это молча,
аясь в своей гордости; ее муж всякие такие огорче-
инимал очень близко к сердцу, даже плакал от них.
х случаях он приходил к жене; «он знал, или ско-
вствовал», что она была единственным человеком,
он мог говорить, не опасаясь, что из малейшего его
ыйдет что-нибудь; Екатерине было его жаль, она
лась дать ему все утешения, какие от нее зависели»;
лым часам» ходила она с ним по комнатам — вол-
он никогда не садился, вообще он всегда суетился,
шумел; «ходил» — рассказывает Екатерина, —
и очень большими шагами; было тяжелым трудом
ать за ним и поддерживать разговор о подробностях
нной части, очень мелочных, о которых он говорил
льствием и, раз начавши, с трудом переставал; тем
ее, я избегала, насколько возможно, дать ему заме-
что часто я изнемогала от скуки и усталости; я
что тогда для него единственным развлечением была
ность мне так надоедать, при чем сам он того не по-
л».

жене же обращался великий князь и тогда, когда
иходила охота фантазировать, например, на тему о
к он устроит себе двор со внешнею — конечно,
внешнею — обстановкою монастыря и так долго
ивала Екатерина такие разговоры мужа, что после
го «самая скучная книга казалась восхитительным
нием». Мало по малу любимейшею темою разгово-

ров великого князя, который читал только разбойн
маны — род литературы, вообще пичтожный, а в XV
возмутительно глупый — все чаще и чаще станови
лепые и совершенно вымышленные рассказы о т
яко бы еще в детстве он совершал военные подви
следуя и захватывая воров-цыган, и Екатерина с
ванием говорит, что великий князь незаметно при
вершенно бесцельно лгать самым отчаянным образ

Но вообще она находила, что «этот юноша
возбуждать более жалости, чем злопамятства»: пр
Елизаветы он чувствовал себя стесненным и вместе
почти заброшенным; она «принимала искреннее уч
всем, что касалось» ее мужа даже и в середине 5
она страдала, если за столом императрицы он с
много пил, вызывая этим неудовольствие государы
влекая на себя своими выходками неудовольствие
ных лиц; она жалела, что около него не было с
какого-нибудь хорошего и умного человека; он
стороны тоже еще и в это время сохранял полную
ность, что жена ему сочувствует и заботится о нем
и случались между ними недоразумения и непри
то не часто и не надолго.

Так сложились отношения молодых супругов;
между ними особенной любви и сердечности, но
редкость именно в семьях, так высоко стоящих, г
устраиваются почти всегда не по сердечной склон
по посторонним соображениям; и если бы только т
достатки проявлял великий князь, то отношения
приличные могли бы существовать не порываясь.

Но в характере его все более и более обнару
многое такое, что не могло не привести к после
Петр Федорович сохранял так много ребяческого и
так мало серьезности, что это становилось прямо н
мым: еще лет пять после свадьбы он тайком от д

Великий князь Петр Федорович

Портрет работы G. Grooth, гравированный И. Соколовым
(из собрания Пушкинского Дома при Российской Академии Наук)

не от жены, играл в куклы; представления марионеток, эта «глупейшая вещь на свете» в глазах Екатерины, для него были наслаждением; чуть не до 30 лет он занимался солдатиками — оловянными, деревянными, бумажными; особая комната была заставлена столами для этой забавы; медные пластинки, прибитые к столам, производили, при дергании веревочками, звук, который представлялся великому князю похожим на залпы; по праздникам была смена караулов: солдатики переставлялись; при этом должны были присутствовать все придворные, на которых простиралась власть великого князя, и даже его жена. Однежды мыши обгрызли несколько склеенных солдатиков, — тогда была поймана и торжественно предана казни крыса. Страсть к военщине, именно к «военным мелкостям» полностью унаследовал от Петра Федоровича Павел Петрович, а от него — его дети Александр и Николай; но такой ребяческой окраски это увлечение не имело не только у них, но даже и у Константина Павловича.

Великого князя забавляли жмурки, танцы его лакеев и горничных под его музыку, — не потому, чтобы он был прост в обращении и вкусах, или любил бы видеть около себя непринужденное веселье: он забавлялся тут, как малый ребенок, именно шумом, беготней, среди лакеев же ему было особенно по душе: он любил общество дурное, общество не простых, а дурных, невоспитанных, грубых людей; Екатерина объясняет это тем, что в детстве, когда с ним не могли сладить, его просто оставляли с лакеями, но едва ли это не врожденная черта; выросши, великий князь вместе с ними пил, усваивал их нравы и речь, охотно выслушивал их советы об отношениях к жене в том духе, что жена не должна сметь «дыхнуть» при муже, что муж хозяин в доме и стыдно, если жена руководит мужем, что если только жена вздумает открыть рот, то муж должен ей приказать молчать. Великий князь пересказывал жене

эти беседы и в спорах с нею иногда опирался именно на такие взгляды.

Другими развлечениями великого князя были дилетантская игра на скрипке, да жестокая дрессировка собак, стаю которых он держал рядом со своей спальней, не стесняясь нимало, что его жене приходилось испытывать неудобства и от визга их и от запахов.

Великий князь учился мало и очень неохотно; он остался совершенно необразованным и ни мало не думал пополнять свои сведения; вместе с тем он нисколько не стеснялся высказывать обо всем самые определенные и решительные суждения; «он всегда простодушно воображал, что все согласны с его мнением, и что нет ничего более естественного». К религиозным вопросам, смешивая с ними и просто обычаи, он относился явно с полным презрением и пренебрежением; совершенно не скрывал он своего презрения и «ко всему, что было русским или тянуло к России», и проявлял смешное пристрастие ко всему иностранному, особенно же — голштинскому; быть не русского происхождения — это в глазах великого князя являлось уже хорошею рекомендациею. С такими взглядами Екатерина отчасти боролась, но слабо—тогда она и сама над этим еще не задумывалась и не выработала еще правильного отношения к таким вопросам.

При таких неприятных чертах умственного своего строя великий князь и в нравственном отношении проявлял черты, кажется, только отрицательные. Он отличался полным отсутствием всякой душевной тонкости, всякой чуткости к духовной жизни других. Это выражалось, главным образом, в мелочах,—но ведь крупного в его личности вообще не было, а иные мелочи делают жизнь более невыносимою, чем многое серьезное. Если великий князь, от скуки, начинал играть с женою в карты, то, проигрывая, он сердился; если ему приходила фантазия есть устриц, то он,

чуть не ночью, бежал к великой княгине, чтобы она составила ему компанию, — отказаться — замечает Екатерина — было нельзя, он рассердился бы; но и есть надо было немного, так как он начинал сердиться, что ему останется мало; если великая княгиня отделывала на свой счет их общие покои, он был доволен, но сам, не стесняясь в расходах на свои личные прихоти, никогда не подумал о том, чтобы и со своей стороны сделать что-нибудь приятное великой княгине; он не любил ездить зимою в закрытом экипаже — и жена должна была ехать с ним на морозе не подымая стекол, хотя и очень этим тяготилась.

Он был труслив, и если представлялась какая-нибудь опасность, заботился прежде всего спастись сам. Если кто-нибудь на глазах великого князя подвергался обиде, он никогда не испытывал желания защитить слабого, а сейчас же становился на сторону сильнейшего; «жалость была чувством тяжелым, даже не выносимым для его души; слезы и крики, вместо того, чтобы внушать жалость, только сердили его», — эту черту, в поразительной степени унаследовал от него Павел Петрович. Великая княгиня имела основание говорить:

«Никогда умы не были менее сходны, нежели наши; не было ничего общего между нашими вкусами, и наш образ мыслей и наши взгляды на вещи были до того различны, что мы никогда ни в чем не были бы согласны, если бы я часто не прибегала к уступчивости, чтобы его не задевать прямо; были, однако, минуты, когда он меня слушался, но то были минуты, когда он приходил в отчаяние. Это с ним часто случалось; он был труслив сердцем и слаб головою; он обладал проницательностью, но вовсе не рассудительностью; он был очень скрытен, когда, по его мнению, это было нужно, и вместе с тем чрезвычайно болтлив, до того, что если он брался смолчать на

словах, то можно было быть уверенным, что он выдаст это жестом, выражением лица, видом или косвенно».

Присоединилось еще обстоятельство, которое должно было оскорблять великую княгиню, прямо как женщину: великий князь ухаживал чуть не за всеми женщинами и «только та, которая носила имя его жены, была исключена из круга его внимания»: за 13 лет супружеской жизни, которые рассказаны в записках Екатерины, можно насчитать свыше 10 женщин, которым великий князь оказывал особенное внимание; правда, великая княгиня знала, что и с ними, так же, как с ней, «дальше перемигиваний дело почти не идет», но все же ее досадовало, если не оскорбляло, что ей предпочитают иногда какого-нибудь урода, — а великий князь никогда и не думал скрываться перед женою, напротив, неизменно делал ее поверенною всякого своего нового увлечения.

Екатерина говорит: «Я очень бы любила своего супруга, если бы он только захотел или мог бы быть любимым», но «с самого начала поняла, что любить мужа, который не был достоин любви и вовсе не старался ее заслужить, вещь трудная, если не невозможная». «Когда я приехала в Россию и в первые годы нашей брачной жизни сердце мое было бы открыто великому князю, сто́ило ему лишь пожелать хотя немного сносно обращаться со мною; вполне естественно, что когда я увидала, что из возможных предметов внимания я была тем, которому е. и. в. оказывал его менее всего, именно потому, что я была его женой, я не нашла этого положения ни приятным, ни подходящим». «По закалу моего сердца оно принадлежало бы всецело мужу, который любил бы только меня и с которым я не опасалась бы обид, каким подвергалась с данным супругом», но «любить безгранично человека, который не платил бы полною взаимностью», она не могла.

Екатерина не скрывает, что будущий сан нравился ей

более, чем особа ее жениха, что она с первых шагов в России поставила себе целью нравиться не только великому князю и императрице, но и русскому народу, и что, в глубине души у нее было «что-то, что не позволяло ей сомневаться ни минуты, что рано или поздно ей самой удастся стать самодержавною русской императрицей». Желал власти и великий князь, но он, по словам Екатерины, — и тут она тоже, конечно, права, — ничего не делал, чтобы стать достойным этого.

Рядом с такими общими замечаниями и рассказывая факты, действительно, характерные, Екатерина одному, совершенно мелкому недостатку великого князя уделяет внимания много больше, чем, казалось бы, он заслуживает: до десяти раз вспоминает она о его болтливости, — не совершенный ли это пустяк при многих других недостатках этого ничтожного характера? — Так и кажется, что эта болтливость великого князя причинила его жене какую-то существенную неприятность...

Два человека, столь различные, как Петр и Екатерина, могли кое-как идти рядом в жизни, заполняемой лишь развлечениями; но стоило вспыхнуть страсти — и семейные отношения их разрушились вполне; стоило оказаться им на пути, где в будущем раскрывались великие перспективы, но непосредственно грозили опасности — они не могли не разойтись окончательно во всех отношениях.

В изучаемый период обстоятельства именно так и складывались.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРЕСТУПНЫЕ ЗАМЫСЛЫ

Когда в одном месте своих записок Екатерина говорит, что при дворе Елизаветы «все сердечно друг друга ненавидели», она отмечает черту, характерную для всех дворов вообще, а не только для Елизаветинского: могут ли и сложиться отношения серьезные и доброжелательные там, где люди собраны не для какого-либо серьезного общего дела, тем более — не с какою-либо высокою целью, а преследуют единственно успехи себялюбия, интересы личные и, следовательно, по существу ничтожные. Бывают хорошие отношения и высокие чувства и у придворных, но не «при дворе» основа таких отношений; бывают около государей люди действительно выдающиеся, работающие для государства и для народа; но такие люди не составляют «двора», с «двором» им всегда приходится бороться, и со стороны «двора» они встречают лишь препятствия и неприязнь; «двор», как двор, является всегда ареною чувств мелких, лишь прикрываемых внешним изяществом, блеском, остроумием, чувств, которые в основе почти неизбежно всегда отмечены недружелюбием.

Замечание Екатерины справедливо по отношению ко всему двору, до самой его вершины: при Елизаветинском дворе отношения между придворными были такие же, каковы были они и в царской семье. Холодность между великим князем и его супругою несомненна. Императрица племянника своего не любила, великой княгине очень часто

выказывала невнимание и неудовольствие; недружелюбными чувствами платили ей со своей стороны и они. Что Петр Федорович не любил своей тетки — это не удивительно: он вообще лишен был всяких тонких и благородных чувств; — после ее кончины он не умел соблюсти в выражениях своей радости простого приличия; любопытнее и знаменательнее, что и Екатерина, женщина, конечно, не глупая и вообще обнаруживавшая такт, тоже питала и проявляла к императрице Елизавете — и именно при ее жизни — дурные чувства.

Екатерина оставила одну характеристику государыни, которую она заменила на троне; как литературное произведение эта характеристика замечательна: государыня в ней как живая.

«Императрица Елизавета» — пишет Екатерина — «имела от природы много ума; она была очень весела и до крайности любила удовольствия; я думаю, что у нее было от природы доброе сердце; у нее были возвышенные чувства и вместе с тем много тщеславия; она вообще хотела блистать во всем и желала служить предметом удивления; я думаю, что ее физическая красота и врожденная лень очень испортили ее природный характер. Красота ее должна была бы предохранить ее от зависти и соперничества, которое вызывали в ней все женщины не слишком безобразные; но, напротив того, она была до крайности озабочена тем, чтоб эту красоту не затмила никакая другая; это порождало в ней страшную ревность, толкавшую ее часто на мелочные поступки, недостойные величества. Ее лень помешала ей заняться образованием ее ума, а в ее первой молодости воспитание ее было совсем заброшено... Льстецы и сплетницы внесли столько мелких интересов в частную жизнь этой государыни, что ее каждодневные занятия сделались сплошною цепью капризов, ханжества и распущенности, а так она не имела ни одного твердого принципа

и не была занята ни одним серьезным и солидным делом, то при ее большом уме она впала в такую скуку, что в последние годы жизни она не могла найти лучшего средства чтобы развлечься, как спать сколько могла; остальное время женщина, специально для этого приставленная, рассказывала ей сказки».

В Царском Селе, где подолгу жила императрица с обществом, самою ею избранным, «жизнь была не особенно приятна»; собранные тут дамы очень редко видали государыню, потому что она «иногда в течение двух или трех недель не выходила из своих покоев и никого у себя не принимала, и все приглашенные жили в полном уединении от света: так, отлучаться никуда не позволялось, не позволялось никому и появляться в Царское Село без специального приглашения. Распределения дня установлено не было; никогда не было известно часа ни обеда, ни ужина, и случалось, что когда придворные, наигравшись в карты,—это было единственное удовольствие, которое им разрешалось—разойдутся уже за полночь и улягутся спать, их вдруг будили, чтобы присутствовать при ужине ее величества; «они являлись туда, и так как она сидела за столом очень долго, а все они, усталые и полусонные, не говорили ни слова, то императрица сердилась, говоря: они любят быть только в своей компании; я их так редко зову, да и то они только и делают, что зевают и нисколько не хотят развлечь меня. Эти ужины кончались иногда тем, что императрица бросала с досадой салфетку на стол и покидала компанию. А нужно при том заметить, что говорить в присутствии ее величества было задачей не менее трудной, чем знать ее обеденный час. Было множество тем разговора, которых она не любила; например, не следовало совсем говорить ни о прусском короле, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науках, — все эти предметы разговора ей не

нравились. Кроме того, у нее было множество суеверий, которых не следовало оскорблять».

В записках Екатерины рассеяно не мало отдельных сообщений, совершенно соответствующих этому изображению, вполне им, так сказать, покрываемых, так что сделанная ею характеристика свидетельствует о большой наблюдательности Екатерины, о недюжинном уменьи понимать сущность характеров. В записках тон отзывов, вообще, такой же, как в приведенном извлечении — несколько холодный, иногда иронический, но вполне приличный, в отрывках же, писанных вскоре после кончины Елизаветы, Екатерина говорит о ней и прямо с уважением и симпатией; искренно сожалея государыню и вспоминая, что «она всякие милости к ней оказывала и в последние два года отменно ее полюбила». Но так писала Екатерина об Елизавете Петровне уже после ее смерти, при жизни же ее — по крайней мере в середине 50-х годов — Екатерина и близкие к ней люди допускали самый недружелюбный, неуважительный тон, выражались иногда прямо грубо, когда говорили об императрице, касалось ли дело совершенных пустяков или чего-либо весьма серьезного.

После одного придворного маскарада Екатерина писала Вильямсу, имея в виду костюм, в каком была на балу императрица:

«Как вам понравилась «звездная ночь»? Мне казалось, что я вижу пролог какой-то немецкой комедии; я забыла сказать вам это за ужином»[1], — а немецкие комедии почитались тогда — и основательно — образцом дурного вкуса.

— «Да, в тот вечер, действительно, очень походили на богиню ночи; не доставало только полной луны на юбке,

---

[1] Здесь и ниже извлечения из писем Екатерины приводятся не в мужском роде, как везде говорится в письмах, а в женском; так как авторство Екатерины несомненно, то сохранение этого странного приема не представляется необходимым.

тогда костюм был бы закончен и театрален вполне», отвечал Вильямс; но трудно поверить, чтобы императрица Елизавета была одета ярко безвкусно: сама же Екатерина в записках не раз говорит, что одевалась она вообще очень хорошо.

В другом письме, говоря тут же о нездоровьи императрицы, Екатерина передает, как нечто очень смешное, будто бы она собирается сама командовать армией, двинутой против Пруссии, и что когда одна из близких к ней женщин сказала, что это невозможно, то императрица, будто бы, отвечала:

— Мой отец делал это прекрасно, а я, что же, глупее его?

На возражения же, что он был мужчина, сердилась и настаивала на своей идее; Екатерина прибавляет, что императрице давно напевают — а она это слушает с удовольствием, — что она ни в чем не уступает отцу и даже превосходит его.

Очень трудно верить таким толкованиям и даже таким сообщениям. Никогда не проявляла Елизавета Петровна такого смешного самомнения, которое необходимо, чтобы серьезно останавливаться на такой странной фантазии; не невозможно, что все это сообщение и просто вымысел, одна из тех насмешек исподтишка, какие иногда позволяют себе люди во всех положениях; если же государыня и говорила что-либо подобное, то, конечно, это было лишь шуткою, которой Екатерина не поняла; что она иногда, по крайней мере в молодости, не понимала иных великодушных движений своей державной тетки, это несомненно; вот тому пример.

В 1748 г. двор гостил в имении обер-егермейстера графа А. Г. Разумовского. Там случилось несчастие: обвалилась часть здания; несколько служителей было задавлено; высокие особы, однако, отделались только испугом, так что,

по тогдашним понятиям, все происшествие считалось скорее неприятностью, чем несчастием; гибелью служителей не особенно интересуется и Екатерина, рассказывающая со всею подробностью обстоятельства своего спасения. Императрица спросила ее, испугалась ли она — и явно была недовольна ответом, что очень испугалась; императрица не обратила внимания и на просьбу великой княгини наградить того служителя, который ее спас; «хоть умереть», пишет о себе Екатерина. Она не понимала причины этого неудовольствия; но, кажется, совершенно ясно, в чем дело: императрица желала придать этому случаю значение пустяка из деликатности по отношению к хозяину, положение которого и без того было в высшей степени неприятно; он был в отчаянии; опасались, что этот добрый, великодушный, преданный государыне человек, человек, вместе с тем слишком непосредственный, сделает, пожалуй, покушение на свою жизнь; правда, еще более, кажется, боялись, чтобы с горя он не напился, потому что во хмелю он делался необыкновенно буен и положительно опасен, особенно при своей колоссальной силе. Стоит отметить, что свое «непонимание» Екатерина выразила в первой редакции записок, составленной около 1755 г.; во второй, значительно более поздней, факт изложен совершенно так же, но отношение к нему Елизаветы понято уже верно, — это характерно для Екатерины.

Приведенный немного выше отзыв Екатерины о Елизавете худо характеризует не того, о ком сделан, а того, кем сделан; но еще хуже отношение Екатерины и ее круга к болезням государыни. Елизавета Петровна вообще не отличалась хорошим здоровьем. Она блистала красотой, была очень высока ростом, хорошо сложена — об этом с восторгом говорит Екатерина, а тут похвала женщины убедительнее всяких восхищенных отзывов мужчины; но такие люди иногда носят в себе зачатки недугов, проявле-

ние которых только сдерживается до поры до времени их могучим организмом; и императрица Елизавета принадлежала к числу именно таких людей: имея всего 45 лет, она часто прихварывала. Как же говорили об этом в круге Екатерины?

«Чье-то здоровье более расшатано, чем когда-либо; вода поднялась в нижнюю часть живота; недавно прибегли к колдовству, и какая-то старуха успела, говорят, помочь в недомоганиях, которые мучили; на следующей неделе, я думаю, будут говеть», пишет Екатерина Вильямсу в первом же письме.

«У кого вода поднялась так, тот уже человек обреченный, а я знаю из хорошего источника, что возвратился кашель, и дыхание затруднено. Скоро говеют; объясните мне, пожалуйста, как это согласуют говенье и леченье колдовством. — Пожалуйста, сообщайте мне все, что́ узнаете о здоровьи известной особы» — только и отвечал Вильямс, проявляя, повидимому, совершенно искреннее и потому несколько комичное удивление перед столь обычным соединением веры и суеверия.

Екатерина отвечала:

«Нелегко согласить набожность и колдовство; но тринадцатилетний опыт убедил меня, что у людей без здравого рассудка, одно и то же может быть одновременно и белым и черным. Говорят, что на следующей неделе двор возвращается за-город, но мало вероятия, чтобы тот, кто неделю тому назад едва мог, от одышки, дойти из своей комнаты до церкви, был бы в состоянии тащиться в деревню по такой погоде».

Вильямсу не казалось ни смешным отстаивать свое мнение, ни неприличным в прежнем тоне говорить о больной женщине.

«Тринадцатилетний опыт» — пишет он — «может доказывать, что одни и те же люди могут говеть и колдо-

вать; но вы согласитесь, что поклоняться богу и чорту — это противоречие; человек не должен служить богу и мамоне. Мне кажется, действительно, невозможно, чтобы двор снова поехал на дачу; усилия, какие пришлось делать, чтобы дойти до церкви, свидетельствуют о страшной слабости... Мои самые большие надежды основаны на великом событии, которое совершится скоро, несмотря на дьявола, колдовство и колдуний».

Это нездоровье императрицы прошло. Но через месяц Екатерина снова пишет: «Чье-то здоровье все хромает»; «императрица не может подняться по лестнице, не задыхаясь; трапны, устроенные повсюду, убедительно это доказывают. Утомление в день имянин вызвало страшные боли в животе вместе с прежними страданиями; она сама сказала мне это вчера, выходя из залы, и сегодняшние мои сведения вполне подтверждают это».

Так писала Екатерина 6 сентября, удивительным образом не чувствуя всего неприличия подобного тона. К концу сентября — опять такие же сообщения, попрежнему — не только с возмутительным спокойствием, но с каким-то даже злорадством:

«Императрица вчера не выходила, так как она не может зашнуровываться вследствие разных болей; у нее болят ноги, кашель опять увеличился; она выходит кое-как к столу, чтобы говорили, что ее видели, но в действительности она очень больна».

Весьма встревожила императрицу появившаяся в это время комета, а также огорчила внезапная смерть графа Строганова, которого императрица очень ценила, — и Екатерина высказывает не сочувствие своей тетке, а пишет так:

«Одышка ее удвоилась; боли в нижней части тела, в соединении с болезнью, о которой вы знаете, заставляют опасаться рака; ноги опухли; водянка несомненна; третьего дня она так кашляла, что вчера не встала».

В письме от 15 сентября Екатерина сообщала Вильямсу, что она поручила Бернарди передать канцлеру, что у императрицы накануне были какие-то судороги, что ночью ей пускали кровь, что это второй припадок за три дня, и что в виду этого она, Екатерина, подтверждает канцлеру, что, когда она будет на месте императрицы, то придаст другой оборот некоторым делам; для сведения самого Вильямса она говорит о нездоровьи императрицы подробнее: императрица впала в беспамятство, ничего не видела, пальцы рук судорожно сжались, руки и ноги похолодели; только сильное кровопускание привело ее в чувство; на следующий день она осталась в постели и принимала лекарство. На другой день Екатерина писала, что у императрицы было три головокружения или обморока, она не узнавала окружающих, волновалась, плакала, говорила, что боится ослепнуть, впрочем, ночь провела хорошо и, будто бы, собирается переезжать в другой дворец.

«Мой хирург», прибавляет Екатерина, «человек знающий и умный, уверен, что с ней будет апоплексический удар».

Вильямс отвечал на это, присоединяя несколько довольно откровенных замечаний о самой болезни императрицы, что считает эту болезнь смертельною; через два дня Екатерина, довольно спокойно подтверждая соображения Вильямса, прибавляет, что императрица находится в состоянии сонливости, и присовокупляет, что очень точные и подробные сведения получает от каких-то двух новых шпионов около государыни, которых ей устроил там Апраксин.

«Императрице лучше», писала Екатерина через неделю: «но несомненно, что мозг ее поражен; у нее голова слабее всего, хотя и вообще она очень слаба».

Через две недели императрица выехала даже на охоту, но там почувствовала себя так плохо, что отчаявались даже,

привезут ли ее обратно; потом ей стало получше — узнаем из совершенно холодного сообщения Екатерины. Через два дня Екатерина предлагала Вильямсу «утешиться» таким известием: одна из старых женщин, ухаживавших за государыней, очень устала и жаловалась на это; тогда лейб-медик сказал:

— Потерпите; не долго еще вам это выносить; она не может жить.

Через десять дней опять встречаются в письме Екатерины выражения, крайне неприличные по адресу какой бы то ни было больной, страдающей женщины:

«Императрица — ведь надо же, чтобы я говорила вам о ней в таком духе, который бы вас хоть немного утешал — в плохом состоянии. Вчера вечером она вышла к ужину, когда он был уже подан. Она подошла к великому князю и ко мне и сказала: я здорова, у меня нет теперь ни кашля, ни одышки, но я не могу зашнуровываться из-за сильной боли в желудке. Так как пред тем она говорила об устрицах, то я сказала: может быть, государыня, эта боль в желудке оттого, что вы их много скушали. — Нет, отвечала она, это у меня уже более, чем полтора года. Она не могла сказать трех слов без кашля и одышки и, если она не считает нас глухими и слепыми, то нельзя было говорить, что она этими болезнями не страдает. Меня это прямо смешит. Рассказываю это и вам — все же это утешение для тех, кто не имеет лучшего».

Через две недели опять:

«Императрица все в том же положении: она раздута, кашляет, у нее одышка и боли в нижней части живота».

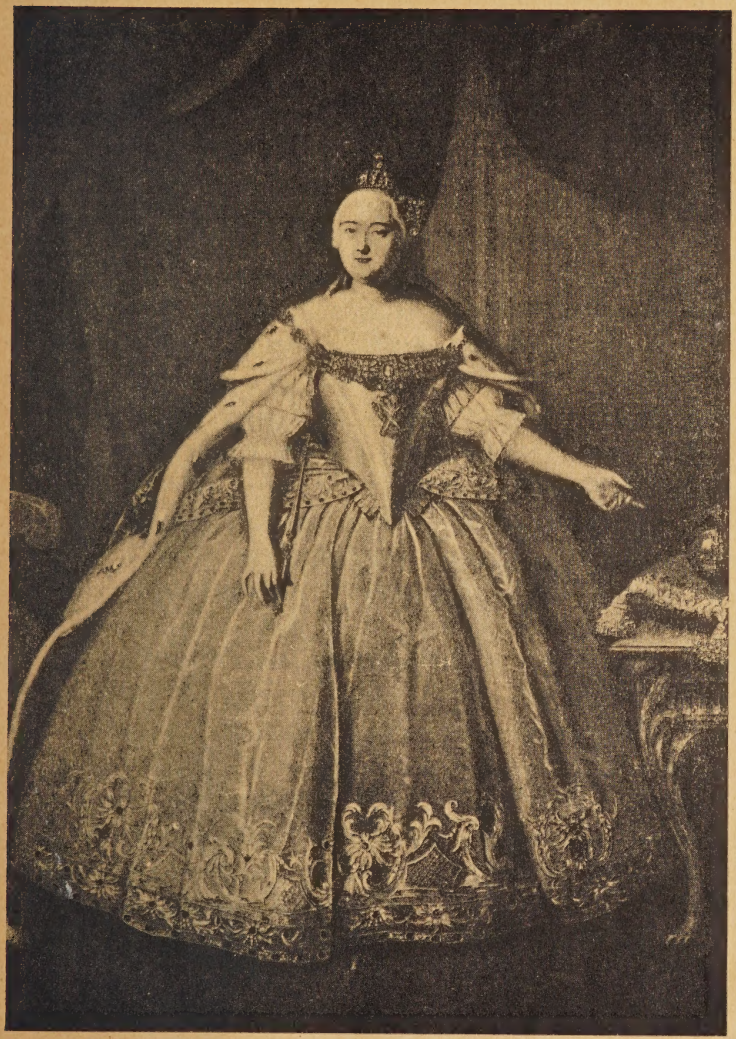
Но все эти выражения бледнеют пред тем, что читается в копии, собственноручно сделанной Екатериною с части письма Понятовского и сообщенной Вильямсу; там такая фраза:

«Ох, эта колода! Она просто выводит нас из терпения! Умерла бы она поскорее!»[1].

Эти холодные, а частью и злорадные речи о страдающей женщине, эти насмешки и даже грубости по адресу старшей родственницы, которой в лицо были расточаемы всякие знаки уважения — все это рисует того, кто писал, в очень невыгодном свете; когда дело касалось царствовавшей государыни, по тогдашним понятиям это было положительно преступлением; суровые наказания грозили в таком случае за выражения, которые были — по сравнению с вышеприведенными — совершенно невинны. Решимость говорить так — весьма характерна для Екатерины в ту эпоху ее жизни, о которой теперь речь. Но мало того, что этим открывалась нечуткость, неделикатность, почти жестокость Екатерины по отношению к женщине, так или иначе, но создавшей для нее то положение, ту обстановку, которыми Екатерина и никогда не тяготилась, а в это время и особенно ценила, — мало всего этого; дело заходило гораздо дальше в ожидании скорой кончины государыни, Екатерина и Вильямс замышляли и готовили государственный переворот...

До сих пор в исторической литературе имелись лишь очень скудные известия об этом эпизоде; уже Соловьев упоминает о нем; но он ссылается лишь на один английский и на один немецкий труд, а не на подлинную переписку Екатерины с Вильямсом. Он, повидимому, не знал ее, Бильбасов же и вовсе отрицал эту переписку. Соловьев, во всяком случае, не проследил подготовки заговора во всех подробностях; потому он и мог не придать ему значения; но если рассмотреть их внимательно, то нельзя не признать, что заговор обсуждался так обстоятельно, что

[1] Oh, poutres l'Imp.! Vous nous faite bien enrager puisse telle meurir au plutot!—Грамматические ошибки, которых тут несколько, не редкость у Екатерины и Вильямса.



Императрица Елизавета Петровна

Портрет работы неизвестного художника, висевший в зале Сената

далеко вышел уже из пределов простой болтовни, которая и не могла бы разыграться во что-нибудь серьезное, по крайней мере реальное. Не зная всех подробностей, нельзя было связать этих разговоров с некоторыми несомненными фактами, тем более нельзя было заметить, чем весь этот эпизод завершился. Между тем, есть возможность проследить его до конца; заметны даже его следствия. Правда, при этом, как при раскрытии едва ли не всякого дела, которое сами его участники скрывают, приходится делать предположения и толкования; но предположения нимало не сложные и не фантастические, а самые простые и естественные, раскрывают и связывают так многое, казавшееся прежде непонятным или совершенно случайным и разрозненным, что является полная уверенность, что благодаря этим предположениям устанавливается действительная связь и действительное значение совершившихся событий.

Весною 1756 г. в Петербурге заговорили о прибытии чрезвычайного французского посольства. Уже более 10 лет, после истории с Шетарди, не появлялись в Петербурге со всем блеском своего сана французские послы, а представители Франции славились повсюду своим дипломатическим искусством, уменьем блистать и влиять в обществе. В конце мая Вильямс заговорил с Екатериною по этому поводу. Живыми красками и весьма убедительно представил он великой княгине, что появление французского посольства может повести к последствиям, очень неприятным для великого князя и для нее.

— Французские дипломаты, говорил он, всегда очень охотно вмешиваются во внутренние отношения дворов, при которых аккредитованы, и умеют достигать своих целей; теперь, во время борьбы против Пруссии, известные прусские симпатии великого князя Петра Федоровича могут послужить им отличным поводом, чтобы, на случай возможной кончины императрицы, отстранить его от насле-

дования престола и передать корону малолетнему великому князю Павлу Петровичу под регентством людей, преданных интересам Франции и враждебных Пруссии и Англии; родители Павла Петровича, в таком случае, потеряют всякое значение.

Этот разговор, веденный искусно и с искренним, может быть, убеждением в истине излагаемого, свойственным Вильямсу, который всегда увлекался своим делом, а особенно, своими собственными мыслями,—произвел на Екатерину впечатление тем более сильное, что в это время она уже не могла не понимать, что отстранение ее мужа от престола ни в каком отношении не будет невыгодно для государства, знала, что понимает это и императрица, и потому должна была допускать, что она может и поддаться на такие внушения. Екатерина, которой уже давно высокое положение казалось очень желательным, которую оно интересовало более, чем особа ее супруга, выразила готовность бороться, сколько возможно, против французского влияния в Петербурге, но так как для этого нужны были деньги, которых она не имела, то Вильямс и устроил ей заем, о котором была уже речь выше. Но от решимости бороться подкупом против таких влияний, которые грозили поколебать в неособенно отдаленном будущем положение, представлявшееся столь желанным, был естественен переход к вопросу: не применить ли и других способов борьбы, чтобы достигнуть цели, если борьба путем подкупа окажется неуспешной, и—называя вещи прямо,—не захватить ли силою того, что́ так давно уже привыкли считать своим, и что́ тут грозит ускользнуть?

Эта мысль обсуждалась, и было принято решение: если окажется нужным, то не отступать от применения и всяких средств, чтобы занять престол, когда он освободится, и сделать все необходимые для этого приготовления. Установить, кто подал первую мысль такого решения,

проследить, как постепенно дошло дело до разработки подробностей — мы не можем, да это и не так важно: в той стадии, на которой нам раскрывается это дело, оба участника принимают одинаковое участие в нем.

Что Екатерина должна и будет царствовать — это между нею и Вильямсом считалось решенным, несмотря на то, что они допускали возможность, что императрица Елизавета пожелает отстранить Петра Федоровича от наследования престола.

«Вы рождены, чтобы повелевать и царствовать», «время вам выступить в роли русского наследника», пишет Вильямс Екатерине; он сообщает ей о своем «видении», в котором представилась ему слава ее будущего царствования; слова: «когда вы будете императрицей» — встречаются в его письмах по крайней мере раз пять.

Екатерина, со своей стороны, не избегала выражений в таком роде:

«Сделайте меня императрицей, и я утешу вас» — так отвечала она на письмо, в котором Вильямс сетовал на свои дипломатические затруднения.

«Я желаю, чтобы видение ваше, что я императрица, исполнилось».

Некоторые свои шаги Екатерина объясняла, как совершенно необходимые, «чтобы вернее достигнуть вершины», и обещает исправить, как императрица, то, что, по мнению Вильямса, испорчено.

«Когда я буду носить корону», «когда я буду императрицей» — такие фразы встречаются и у Екатерины раз пять. Она сообщает Вильямсу, будто бы и Бестужев поручил одному верному человеку передать ей:

— Приласкайте Шуваловых и вы будете царствовать.

Таким образом, несомненна готовность Екатерины с волею императрицы не считаться. Это само по себе уже было преступным земыслом; но она стремилась рядом мер

подготовить и осуществление его. Предполагая—в виду тех недомоганий, о которых так часто шла речь в переписке с Вильямсом, возможность близкой кончины императрицы, Екатерина и Вильямс весьма обстоятельно обсуждали и согласились. что̀ и как именно делать в решительный момент.

В одном из первых писем к Вильямсу Екатерина выражает свое полное согласие с его рассуждениями, что вообще Шуваловых надо держать в известном отдалении от себя, но говорит, что в данное время она делала некоторые шаги в их сторону, с расчетом, чтобы—если близка развязка—то есть смерть императрицы (si le meurissement est bien proche) — ожиданием меньших неприятностей отвратить их, или хоть временно удержать от таких действий, на которые они могли бы решиться, если их довести до отчаяния. Разбирая предостережения Вильямса, рисующего ей возможную опасность, Екатерина писала:

«Допустим даже самые неприятные для меня намерения. Когда, по вашему, наступит момент их осуществления? При жизни императрицы? Но вы знаете невозможность ожидать от нее энергичных решений и общее недовольство, особенно среди военных; прибавьте опасение трех или четырех живых претендентов (имеется в виду «брауншвейгская фамилия») — а мысль об этом у нее твердо запечатлена — которых ей пришлось бы предпочесть своим близким; наконец, малая основательность расчетов, какие можно делать на двухлетнего младенца — все это, при ее природной нерешительности, окажется, надеюсь, достаточным препятствием. Пусть даже захотят нас удалить или связать нам руки,—это должно совершиться в 2—3 часа; одни они этого сделать не смогут, а нет почти ни одного офицера, который не был бы подготовлен, и, если только я не упущу необходимых предосторожностей, чтобы быть предупрежденною своевременно, это будет уже моя вина.

если над нами восторжествуют. Но будьте уверены, что я не сыграю пассивной роли короля шведского, и что я не погибну, если буду царствовать».

«Какой дух, какая твердость! День ото дня я больше восхищаюсь вами, я вас обожаю: у меня нет ни покровителя, ни руководителя другого, кроме вас», отвечал на это письмо Вильямс.

Через два дня (11 августа) Екатерина пишет ему:

«Я занята теперь тем, что набираю, устраиваю и подготовляю все, что необходимо для события, которого вы желаете; в голове у меня хаос интриг и переговоров».

Через неделю, 18 августа, пошло письмо еще более серьезного содержания. Упомянув, что «недомогания известной особы за последние сутки удвоились», Екатерина продолжает:

«Вот мои планы. Когда я получу безошибочные известия о наступлении агонии, я отправлюсь прямо в комнату моего сына. Если я встречу, или буду иметь возможность немедленно призвать обер-егермейстера (графа А. Г. Разумовского), я оставлю его, с его подчиненными, при сыне; если нет — я отнесу сына в мою комнату. Вместе с тем я пошлю верного человека известить пять гвардейских офицеров, в которых я вполне уверена; они приведут мне каждый по 50 солдат; это будет исполнено по первому же знаку; может быть, я и не обращусь к их помощи, но они будут у меня в резерве на всякий случай; они будут принимать повеления только от великого князя или от меня. Я пошлю к канцлеру, к Апраксину и к (генералу) Ливену, чтобы они явились ко мне, а в ожидании их направлюсь в комнату умирающей, куда призову командующего караулом капитана, велю ему присягнуть и оставаться при мне. Кажется, надежнее и лучше, чтобы оба великие князя были вместе, чем чтобы один был со мною; думаю также, что местом сбора должна быть моя приемная. Если

я замечу какое-либо, хотя бы самое малейшее движение, я отдам под стражу Шуваловых и дежурного генерал-адъютанта. Младшие офицеры лейб-компании народ надежный, и, хотя я в сношениях не со всеми ими, но на двух или трех я могу вполне расчитывать и уверена, что имею столько влияния, чтобы заставить себе повиноваться всякого, кто не подкуплен. — Как друг, исправьте все это и укажите мне, что мною упущено, чего я не предвидела. Много будет зависеть от общего взгляда и от освещения, в каком мне представится все; молите небо, чтобы голова у меня была ясна. Глубокая ненависть, которую внушили Шуваловы всем, кто не принадлежит к их партии, правота моего дела вместе с легкостью, какую всегда встречает дело в своем естественном движении,—все это дает мне надежду на счастливый исход. Вы скажете: «если не произойдет какого либо замешательства»; вот потому то я и излагаю все это вам; новость предмета и поспешность, с которою я все это излагаю, требует от моего соображения крайних усилий».

К этому письму приложен листок, на котором Екатерина излагает разговор, какой она имела с гетманом графом К. Г. Разумовским.

«Я сказала ему», пишет она, «что требую, чтобы с наступлением агонии его брат немедленно бы уведомил меня об этом, взял бы моего сына на свою ответственность и отвечал бы и за тех, кто под его начальством. Гетман поручился за это и прибавил: он не станет ожидать последнего момента, чтобы вас предупредить, ручаюсь за это; он послужит вам во всем, что вы ему поручите. Я спросила, ручается ли он, на случай необходимости, за свой полк; он отвечал: насколько вы можете этого желать; я ему сказала: вы понимаете, что все эти вопросы делаются на случай необходимости после смерти. Относительно возможных Шуваловских проектов он сказал: мы за вас станем, не

щадя живота, не бойтесь; ваши друзья многочисленны и сильны».

Что гетман вполне предан Екатерине, и что это особенно важно, так как он командир одного из гвардейских полков—об этом говорит в своих письмах и Вильямс; многократно он писал Екатерине, чтобы она, по возможности, старалась задержать предполагавшийся отъезд гетмана на Украйну — именно в ожидании того момента, о котором теперь речь,—и гетман, действительно, оставался в Петербурге, хотя и говорилось не раз, что отъезд его решен окончательно. На письмо, только что изложенное выше, Вильямс отвечал:

«Я одобряю ваш проект на случай смерти; мне кажется, нельзя придумать ничего лучше. Признаюсь вам, я не боюсь ничего после смерти, но очень опасаюсь людей, которые могут действовать до нее»—и переводил речь на то, что необходимо остерегаться канцлера:—его Вильямс особенно не любил и опасался.

План, однажды составленный, оставался у великой княгини в мыслях постоянно, в ожидании момента, когда придется его осуществлять: в письме от 30 августа Екатерина писала Вильямсу:

«Я решилась погибнуть или царствовать».

«Я всегда буду всем или ничем», говорила она в письме 5 ноября.

Неуверенная, что гетману удастся не уехать, она искала кого нибудь другого, кто согласился бы войти в ее виды, и, по своему положению в гвардии, мог бы в решительный момент заменить гетмана; наконец, она переговорила с князем Н. Ю. Трубецким сама. Сказано было достаточно:

«Трубецкой», — извещает она Вильямса, «говорил со мною очень ясно и прямо; но он не хочет никого в качестве посредника, опасаясь предательства».

Что, действительно, у Екатерины с Трубецким были

какие-то отношения, подтверждается тем фактом, что именно к Трубецкому она обратилась при первом же известии об аресте Бестужева, когда, следовательно, представилась опасность, что может кое-что раскрыться. Действия в решительную минуту обсуждались снова между Екатериною и Вильямсом в середине октября, когда здоровье императрицы снова внушало сильные опасения, а у них оживились их надежды. Екатерина снова просила советов у Вильямса и он писал ей 16 октября:

«На случай смерти вы, слава богу, на местах. Нужно, чтобы великий князь и вы появились тотчас же, но не прежде, чем будет установлена и принесена вам обоим присяга министрами или министром, кого вы допустите прежде всех до себя. Никто не должен целовать вашей руки, пока не присягнул; в первые дни никого не принимайте худо, но своих сторонников отличайте. Старайтесь, чтобы на лице вашем не выражалось ничего, кроме полного спокойствия и хладнокровия. Если великий князь Павел здоров, надо бы вам на минуту явиться с ним на руках. Нет вовсе необходимости заботиться о вашей безопасности или о защите вас. Права великого князя ясны, как день, — во всей Европе нет более несомненных. Все склонится, все простется пред вами, и вы взойдете на престол так же спокойно, как я сажусь за обед. Если окажется завещание, и будет не вполне вам подходить, лучше его уничтожить. Не выставляйте никаких других прав, кроме: от крови Петра Великого. Надо, чтобы в первый же день великий князь собрал полки своей гвардии и явился пред ними. Вот все, что я могу сказать вам по этому вопросу. Если будут добры умереть, все остальное пойдет, как по нотам».

«Я последую», отвечала Екатерина, «вашим последним советам тем охотнее, что они кажутся мне отлично подходящими к обстоятельствам, и что слишком много

предосторожностей показали бы большую слабость и страх».

Через 5 дней после этого, 21 октября, был у Екатерины Бернарди и сказал ей, что канцлер поручил передать ей, что, в случае смерти императрицы, совершенно необходимо, с помощью обер-егермейстера Разумовского, немедленно арестовать всех трех Шуваловых и дежурного генерал-адъютанта. Екатерина писала, что она ответила Бернарди, что он лжет, что канцлер не мог дать ему такого поручения, и что тогда Бернарди стал со слезами уверять, что он всегда передает верно то, что ему приказано.

В ноябре Бестужев переслал Екатерине извлечение из перлюстрованной депеши к Дугласу, бывшему, в ожидании приезда посла Лопиталя, представителем Франции в Петербурге; в депеше этой говорилось, что ходят какие-то слухи о возможных, яко-бы, изменениях в русском престолонаследии под влиянием французского двора, что это измышления совершенно лживые, распространяемые, конечно, английским послом, который крайне недоволен ходом дел в России. Отсюда видно, во всяком случае, что о каком-то дворцовом перевороте вообще поговаривали.

Екатерина и особенно Вильямс тревожились в это время тем, что образовывался, под исключительною командою графа П. И. Шувалова 30-тысячный корпус.

«Это, положительно, самая мрачная измена империи, что конференция допускает, чтобы подданный имел в своей команде 30.000 человек», внушал Вильямс, — а через две недели Екатерина пишет, что и великий князь понял, что эти 30.000 человек очень опасны.

В октябре Апраксин спрашивал Екатерину, ехать ему к армии, или остаться; Екатерина сказала, что ей было бы приятно, если бы он остался; в октябре же Екатерина сообщила Вильямсу, что получила много заявлений о желании ей служить, и, в волнении пред ожидаемым насту-

плением решительного момента, выражает опасение, удастся ли ей поддержать имя, уже слишком восхваляемое заранее.

«Мне льстят в ожидании развязки», — пишет она: — «но во мне самой есть враги моей славы, которых вы можете и не видеть; как избавиться от того, чтобы не оказаться в чужих руках, как избегнуть, чтобы не впасть в ослепление?».

Одних этих писем, кажется, достаточно; едва ли много случаев, чтобы люди, организуя заговор, оставляли на бумаге что-нибудь большее, так сказать — доказательнейшее; но сохранились еще три бумаги, имеющие непосредственное отношение к этим предположениям.

Прежде всего, уцелело следующее письменное наставление для великого князя Петра Федоровича, — вот его текст, с выпуском — из всего числа 17-и лишь шести пунктов, говорящих о подробности принесения присяги:

«1) Представляется весьма важным, чтобы вы знали, ваше высочество, по возможности точно, о состоянии здоровья императрицы, не полагаясь на чьи-либо слова, но вслушиваясь и сопоставляя факты, и чтобы, если господь бог возьмет ее к себе, вы присутствовали бы при этом событии.

2) Когда событие это будет признано совершившимся, вы, отправясь на место происшествия как только получите это известие, покинете ее комнату, оставя в ней сановное лицо из русских и притом умелое, для того, чтобы сделать требуемые обычаем в этом случае распоряжения.

3) С хладнокровием полководца и без малейшего замешательства и тени смущения вы пошлете за

4) канцлером и другими членами конференции; между тем

5) вы позовете капитана гвардии, которого заставите присягнуть на кресте и евангелии в верности вам — если

форма присяги не установлена — (то) по форме, которая употребляется в православной церкви.

6) Вы прикажете, в случае, если генерал-адъютант не может явиться, или если вы найдете удобным предлог оставить его у тела императрицы — пойти

7) объявить дворцовой гвардии о смерти императрицы и о вашем восшествии на престол ваших предков по праву, которым вы владеете от бога и по природе вашей, приказав им тут же итти в церковь принести присягу на верность, куда, между тем, вы

8) прикажете позвать дежурного, живущего при дворе священника, который вынесет крест и евангелие и, по мере того, как солдаты будут приносить вам присягу, вы им при выходе будете давать целовать руку и вышлете им несколько мешков с несколькими тысячами рублей.

9) То же распоряжение, какое получит капитан, должно быть дано вами сержанту лейб-компании и, кроме того, ему будет приказано притти в покои со своими людьми без ружей; сержант не отойдет от вас во все время исполнения им своих обязанностей, что́ не будет излишнею предосторожностью по отношению к вашей особе.

11) К этому времени соберется конференция; будет выработана форма объявления об этих событиях, причем вы тут воспользуетесь тою, которую вынете из своего кармана, и в которой очень убедительно изложены ваши права.

13) Вы поручите кому нибудь, если возможно — самому уважаемому лицу, например, фельдмаршалу Трубецкому, пойти возвестить войскам в установленной форме, которая должна быть краткой и сильной, о событии дня, после чего они все должны будут принести присягу в верности, и вы обойдете, если желаете, ряды, для того, чтобы показаться».

Кроме этого «наставления» сохранились и текст присяги

и проект манифеста; все это тоже должно было быть передано великому князю; все это писано рукою Екатерины и два последние документа, вероятно, ею же и составлены. Слова о «хладнокровии полководца», затрагивавшие слабую струнку великого князя, невольно приводят на память то, что́ Екатерина рассказывает о хвастовстве великого князя в интимном кругу своими вымышленными военными подвигами еще в детстве; ею же, а никак не Бестужевым, могло быть вставлено имя князя Трубецкого, приписанное на поле: Бестужев, во всяком случае, не назвал бы Трубецкого, так как Трубецкой принадлежал к партии его врагов. Что «наставление» писано во всяком случае не Бестужевым — а это важно установить — видно и по упоминанию, что «если форма присяги не установлена»: Бестужев не мог так написать: он, конечно, знал точно, установлена или не установлена форма присяги. «Наставление», в общем, предполагает тот же самый ход дела, какой рисовался и Екатерине, и ею изложен в вышеупомянутом письме к Вильямсу; некоторое различие, правда, есть: в переписке с Вильямсом она прямо принимала первую роль на себя, здесь же разыгрывать первую роль предоставляется, как будто, великому князю; но вполне могла написать и то и другое Екатерина: для великого князя ей и вполне естественно было писать так, как написано в «наставлении»; но ведь в переписке с Вильямсом брошена уже, как бы мимоходом, мысль, что кое что может быть и изменено, так как многое будет зависеть от того, как представится все в самый момент; Екатерина говорила там, что, кажется, обоим великим князьям лучше быть вместе, чем при ней, а великий князь Павел Петрович должен был оставаться в ее приемной. На «наставлении», кроме того, заметно отражение советов, какие давал Вильямс Екатерине.

Рядом с такими данными, свидетельствующими, что Екатерина и Вильямс обдумывали и даже организовывали

заговор, в переписке их есть упоминания и о какой-то борьбе интригами — между Екатериною с одной стороны и Шуваловыми с другой, борьбе, объяснявшей возможность, — а в глазах Екатерины, пожалуй, и необходимость этого заговора, но сообщения эти, идущие от одной лишь стороны, не раскрывают со всею точностью того, что́ происходило: Екатерина сообщает, что А. И. Глебов, известный в свое время делец, искал вступить с нею в сношения, обещая раскрыть что-то очень важное. Глебов, однако, был встречен недоверчиво, чего он и, действительно, заслуживал, как клеврет Шувалова и человек вообще очень недобросовестный: Вильямс едва ли ошибался, когда внушал Екатерине, что письмо, с которым обратился к ней Глебов, составлено наверно с ведома Шувалова; Екатерина Глебова не приняла.

Воронцов сделал однажды какое-то, повидимому угрожающее по адресу великого князя Петра Федоровича замечание о близости от Петербурга принца Иоанна, то-есть несчастного Иоанна Антоновича, 15 лет тому назад по капризу Анны Иоанновны объявленного императором, но с первого же года жизни находившегося в суровом заключении; об этом, впрочем, упоминается лишь в ответе Вильямса, а та часть письма великой княгини, на которую Вильямс отвечал, почему-то не сохранилась, так что нельзя судить, что именно и даже в каком духе говорил Воронцов.

В таком положении было дело, когда в Петербург вернулся Понятовский. С приездом его корреспонденция Екатерины с Вильямсом, и начавшаяся потому, что английский посол взялся быть посредником в переписке влюбленных, быстро слабеет, а потом и прекращается, так что иссякает единственный источник, который дает сведения о замышлявшемся предприятии. Возможно, что и фактически заговор заглох, потому что ослабело к нему внимание Екатерины. Возвращение любимого человека наполнило

жизнь молодой женщины таким счастьем, таким богатством содержания, что далеко на задний план отодвинулись какие-то хитрые, да еще грозившие и опасностями расчеты на будущее, которое теперь так естественно заслонилось настоящим. Понятовский же был вовсе не такой человек, чтобы вовлекать кого-либо, а тем более любимую женщину, в опасные замыслы: его предприимчивости хватало на то, чтобы лишний раз пробраться к женщине, которой он был увлечен, но не на что-либо более серьезное; много рассказывая в своих мемуарах о своем увлечении великой княгиней и о своих похождениях с нею, он о заговоре ни единым словом не упоминает: заговор этот, следовательно, в жизни его, а, значит, и Екатерины, не стоял на первом плане, на первой очереди; не невозможно даже, что Понятовский не был посвящен в заговор. Потом великая княгиня ожидала ребенка, затем и Вильямс уехал. Через год с небольшим по возвращении Понятовского разыгралась Бестужевская история, вскоре пришлось уехать и Понятовскому. Екатерина удалилась с первого плана придворной блестящей сцены, и, когда умерла императрица Елизавета, тот результат, для достижения которого и подготовлялся заговор, наступил сам собою: совершенно спокойно воцарился Петр Федорович.

Таким образом не представлялось случая заговорщикам, — или, точнее, заговорщице — показать, насколько серьезна была их решимость на опасный шаг, и как сумели бы они держаться в решительный час; но что заговор существовал — это совершенно ясно из того, что изложено выше. А когда самый факт этот несомненен, то и в записках и в других автобиографических заметках Екатерины можно уловить некоторые намеки на заговор, вернее несколько таких сообщений, где — если употребить довольно вульгарное выражение, — императрица, как говорится, заметает следы этого эпизода своей жизни,

который, по понятным причинам, ей было желательно скрыть.

В самом деле, повествуя о событиях 1749 г., Екатерина пишет, что в начале его императрица Елизавета заболела, и что эту болезнь от великого князя и от нее держали — почему то в тайне, у Бестужева же с Апраксиным и с некоторыми другими лицами, на преданность которых она и великий князь не могли особенно расчитывать, были постоянные маленькие совещания, совершенно тайные и при закрытых дверях.

«Мы не знали», говорит она, «чему это приписать. Великий князь в особенности, при своей трусости, не знал какому святому молиться; я ему внушала мужество, просила держать себя весело и спокойно и говорила ему, что я постараюсь быть возможно лучше осведомленной через своих людей о состоянии здоровья императрицы, а если бы она умерла от этой болезни, то я ему открою двери, чтобы он мог выйти из своих покоев, где его держали, так сказать, взаперти, и если бы другого свободного выхода не оказалось, то окна наших покоев в нижнем этаже были достаточно низко расположены, чтобы можно было в случае нужды выпрыгнуть на улицу. Кроме того я ему сказала, что полк графа Захара Чернышева, на которого, мне казалось, я могла расчитывать, находился в городе, и что несколько капралов лейб-компании, которых я ему назвала, не покинули бы его. Все это его успокоило и побудило довольствоваться у себя в уголке собаками и музыкой».

Этого рассказа в его буквальном изложении и смысле нельзя не признать несколько странным. Ничто из ранее рассказанного великою княгинею, не давало ей, повидимому, повода предполагать враждебные замыслы и, притом, не столько даже против нее, сколько против великого князя; в это время он был еще слишком молод, чтобы его несерьезность и бездарность могли вызывать то неблагоприят-

ное впечатление, какое стали они производить впоследствии; достаточно добрые отношения в царской семье тогда еще не нарушались; вместе с тем в это время, всего через три года после своего замужества, Екатерина не имела еще решительно никаких оснований расчитывать, чтобы свое личное влияние могла она противоставить влиянию таких людей, как Бестужев и Апраксин, если далее через 7 лет после этого она, тогда уже мать великого князя, должна была в подобном положении заводить заблаговременно сношения и связи с разными лицами, то было бы с ее стороны более чем странно расчитывать, — а со стороны читателя верить, — что в 1749 г. достаточно было Петру Федоровичу, которого держали, будто бы, словно взаперти, «выпрыгнуть в окошко», чтобы в желательном для нее смысле устроить дело о наследовании им престола.

Между тем, некоторые подробности тут так подозрительно напоминают события или, точнее, предположения 1756 года, что является невольно мысль, не относит ли тут Екатерина ко времени гораздо более раннему то, что относится к этому последнему году. Можно, кажется, найти объяснение, для чего это она делала: не неправдоподобно, что Екатерина желала поместить в своих записках, которых не держала в полном секрете, рассказ о том, что в чертах не совсем определенных, но могло быть кой-кому известно, чего во всех подробностях рассказать она не хотела, но находила не лишним для себя упомянуть, только придавая рассказу желательное ей освещение и скрывая истинное.

Затем в записках Екатерина рассказывает следующее: Бестужев, желая удержаться на своем месте и после кончины Елизаветы Петровны и находя, что Екатерина — единственный человек, на кого может он опереться, составил план, чтобы по смерти императрицы великий князь был провозглашен императором, а она объявлена его соправительницей, чтобы все должностные лица оставались

в своих должностях, ему же дано было бы звание подполковника во всех четырех гвардейских полках и председательство в трех государственных комиссиях — военной, адмиралтейств — и иностранных дел. Проект соответствующего манифеста он, будто бы, прислал чрез Понятовского ей, но она, по совету с Понятовским, отвечала, что благодарит его за его добрые намерения относительно нее, но смотрит на предположение, как на трудно исполнимое, Бестужев, по словам Екатерины, заставил написать и переписать свой проект, изменял его, был им вообще очень занят, она же, будто бы, «смотрела на этот проект как на пустую болтовню», но «не хотела противоречить старику с характером упрямым и цельным, когда он вобьет себе что-нибудь в голову».

В одном из набросков Екатерина передает это же несколько иначе: «Усиленно добиваясь» расположения великого князя и особенно ее самой, Бестужев, говорит она, «дошел до того, что составил письменный проект, чтобы доставить мне, в случае смерти императрицы, участие в престолонаследии и правлении с моим супругом; я видела этот проект, я исправила его собственноручно».

Еще раз касалась Екатерина вопроса о престолонаследии в отрывке, который здесь приводится полностью лишь с некоторыми поновлениями в слоге, нимало не изменяющими духа и содержания подлинника, но необходимыми тем более, что отрывок остался совершенно не отделанным черновиком.

«Каковы были последние мысли императрицы Елизаветы Петровны о наследовании престола, точно сказать нельзя, ибо твердых не было. То несомнительно, что она не любила Петра и почитала его за неспособного к правлению, что она знала, что и он русских не любил; она с трепетом смотрела на смертный час и на то, что после нее произойти может; но так как она во всем имела реши-

тельность весьма медленную, то догадываться можно, что и в отношении наследства мысли ее особенно колебались и чего-нибудь определенного не было. Фаворит ее, И. И. Шувалов, окруженный великим множеством молодых людей, сам опасался Петра Федоровича, которого не любил, отчасти искренно, отчасти потому, что поддавался воплю множества людей, которые не любили и опасались Петра; он, за несколько времени до кончины государыни, обдумывал вопрос о наследстве и обратился к Никите Ивановичу Панину, спрашивая, что́ он думает, как бы тут поступить: он говорил, что можно, или, выслав из России великого князя с супругой, установить правление от имени семилетнего великого князя Павла, или, выслав отца, оставив мать с сыном, но что все единомысленны в том, что Петр Федорович править неспособен и что, покоряясь ему, Россия ничего кроме бедствий не испытает. Но Панин отвечал, что все такие проекты суть способы к гибельной междоусобице, что нельзя без самых вредных последствий вдруг изменить то, что 20 лет всеми клятвами утверждено. Обо всем этом Панин тотчас дал мне знать и говорил, что большая вероятность, что императрица согласится, если представить ей, чтобы отца выслать, а оставить мать с сыном. К этому, однако, Шуваловы, слава богу, не приступили, но, заботясь о собственной своей безопасности, стали стараться всякими хитростями войти в милость к великому князю, в чем и успели. А он о сей грозившей ему туче так никогда и не узнал: он был не молчалив и, конечно, те, кто захотел бы его, из верности к нему, в этом или в чем другом, предостеречь его — первые были бы жертвою его нескромности, которая тогда особенно опасна была, когда он из-за стола вставал, по пословице русской: у пьяного на языке, что у трезвого на уме».

Все эти сообщения более создают подозрений, чем разъясняют дело. Затруднения тут не в мелких разноречиях:

они легко объясняются различною точностью воспоминания, вполне возможною при писании разных отрывков на довольно значительном расстоянии времени; важно тут то, что разным лицам приписываются поступки положительно почти невероятные, и тут забывчивость нимало не могла влиять. С какой стати было Бестужеву, старому и умному человеку, а в интригах особенно искусному и опытному, «писать и переписывать» свой, бесспорно, опасный проект, если он даже и действительно думал о таком перевороте? Ничего не было тут такого, что требовало бы большого писания; надо было получить согласие Екатерины, — но это было вполне возможно, и во всяком случае, удобнее сделать устно; непосредственные распоряжения, когда они потребовались бы, Бестужев отлично сумел бы симпровизировать, — и излагать все это на бумаге, создавать такую улику против себя, — это, без положительной необходимости, было бы совершенно непонятною неосторожностью со стороны человека и несравненно менее опытного, чем Бестужев. Затем, если бы проект был составлен, действительно, самим Бестужевым, то чего было ему немедленно после своего ареста спешить с извещением великой княгини, чтобы она не беспокоилась, что он успел все сжечь; Екатерина, правда, поясняет, что, хотя исправленный ею Бестужевский проект оставался у нее, но она не была уверена, что у него не осталось копии: она внушает этим, что и без ее участия, но в ее пользу составленный проект мог причинить ей беспокойства и неприятности; но раз известно с несомненностью, какую вела она в это самое время переписку с Вильямсом, то ясно, что не очень то стала бы она опасаться такого документа; со своей стороны Бестужев не мог не знать, что великая княгиня о его судьбе вовсе уж так беспокоиться не будет, и не стал бы, подвергаясь новым опасностям, успокаивать ее, если бы не знал, что беспокойство ее за себя самое, действительно, может быть

очень велико. Что касается заявления Екатерины, что она смотрела на проект Бестужева как на пустую болтовню или даже — хотя бы — как на вещь трудно исполнимую — то и доказывать не надо, как это не соответствует истине: неопровержимые свидетельства говорят, что Екатерина сама задумывала такое же предприятие, советовалась о нем и готовилась идти на такое дело даже с немалым риском.

Подозрительно и то, что И. И. Шувалов — если верить Екатерине — приходил почти к тем самым мыслям, какие — несомненно — питала она сама, и еще подозрительнее, чтобы он адресовался прямо к Н. И. Панину. Панин был тогда в Петербурге человек совершенно новый, без больших связей; правда он был приставлен к великому князю Павлу Петровичу, но ведь Павлу было всего семь лет; Панин был человек очень умный, высоко честный, и мнение его вообще было ценно; но не эти свойства ценятся, когда вступают на путь открытого государственного переворота. Могущественная партия Шуваловых, которой опасались сама великая княгиня и ее сторонники, не имела никакой нужды советоваться с Паниным и вряд ли сделала бы такую неосторожность: ведь это значило создать лишнюю возможность, что замысел станет известен Екатерине, против которой — в одном варианте — он и направлялся. Рассказ Екатерины, будто И. И. Шувалов советовался с Паниным, является, вероятно, вымышленным; — и можно предположить довольно правдоподобное объяснение, для чего Екатерина тут к вымыслу прибегла: Панин мог узнать об этих замыслах и от других, может быть именно от самой Екатерины; она могла допускать, что и от него, впоследствии, кто-нибудь узнал кое-что об этих, давно миновавших предположениях; и вот, на такой случай, могло представиться не лишним изобразить дело так, будто он знал о каком-то подобном замысле, но только не ее, а И. И. Шувалова.

Во всяком случае, какое бы изображение ни придавала Екатерина всему этому эпизоду, как бы ни скрывала своего участия в подобных замыслах, пусть говорила в записках, что «была в душе глубоко убеждена, что против правительства ни в чем не могла себя упрекнуть», на лицо имеются свидетельства и доказательства слишком убедительные, чтобы оставалось хоть малейшее сомнение, что заговор, с целью захватить власть, если бы императрица Елизавета пожелала устранить Петра Федоровича от наследования, Екатерина составляла; все ее усилия отвести от себя подозрения в чем либо подобном лишь наводят на мысль, что заговор этот не остался для Екатерины только воспоминанием о пустой мечте, о необдуманном шаге молодых лет, а был связан с чем то серьезным, неприятным, с чем то, вызывавшем чувство стыда.

Действительно, у этого заговора был свой конец, определенный и важный: его последний акт разыгрался на том ночном объяснении Екатерины с императрицею, о котором приходилось уже не раз упоминать мимоходом; нам надо теперь рассмотреть рассказ о нем самым внимательным образом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НОЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ С ИМПЕРАТРИЦЕЙ

Припомним вкратце события, за которыми следовали два таинственные объяснения Екатерины и Елизаветы Петровны.

14 февраля 1758 г. арестован Бестужев. Великая княгиня очень встревожена, но весть от канцлера, что он успел все сжечь, несколько ее успокаивает. Через две недели арестован Штамбке, а Понятовский получил приказание готовиться к выезду. Тогда великая княгиня уже «не ждала ничего хорошего». Она немедленно и с особыми предосторожностями сожгла все свои бумаги: она приказала верному камердинеру принести все ее старые счеты; затем, положив предварительно в печку другие бумаги, зажгла огонь и, призвав снова того же слугу, бросила в печку все, принесенное им, так что он «мог поклясться», что видел, как она жгла счеты.

Великую княгиню ни о чем не спрашивали, ни в чем не обвиняли; великий князь, однако, вообще при всяких столкновениях становившийся на сторону более сильную, нападающую, начал что-то проявлять к ней враждебное отношение; давно уже был он к ней совершенно безразличен, а тут вдруг стал делать сцены, «кричал как орел».

Екатерина — хотя по всему предыдущему изложению записок не видно для этого никаких оснований — решила почему то добиваться личного объяснения с императрицей.

Она написала государыне трогательное, по ее словам, письмо. Начав с благодарностей за милости и благодеяния, какими она осыпана с приезда в Россию, она говорила, что, к несчастью, события доказали, что она этих милостей недостойна, что она навлекла на себя ненависть великого князя и явную немилость императрицы; поэтому она «убедительно просила» отослать ее заграницу; выражая надежду, что императрица не оставит ее детей, она писала, что сама «в этом уповании проведет остаток дней у родных, молясь богу за императрицу, за великого князя, за детей и за всех тех, кто ей сделал добро или зло, но что ее здоровье доведено горем до такого состояния, что она должна сделать все возможное, чтобы по крайней мере сохранить свою жизнь».

Императрица удивилась такому неожиданному письму: она велела передать великой княгине, что переговорит с нею, и при этом «не сочла возможным» отказать великому князю, который вдруг «исполнился ревностью» и просил тоже о разрешении присутствовать при этом объяснении. Екатерина признает, что была очень ободрена таким решением императрицы; по ее словам «против нее» «мог быть только один пункт, заключавшийся в том, что племянничек императрицы не казался ей достойнейшим любви среди мужчин».

Она говорит, что ожидала объяснения вполне спокойно. Но ею же приводимые факты этому противоречат: вскоре, из-за удаления верной служанки, то есть по такому случаю, какой бывал уже не раз, Екатерина сочла уместным представиться очень серьезно больною и «прерывающимся голосом» просила позвать духовника; с ним она говорила очень долго и откровенно; по просьбе великой княгини этот священник представил императрице «все горе и страдание» великой княгини — и в результате императрица вызвала ее для разговора на следующую же ночь.

Единственным источником, откуда почерпаются сведения об этой беседе, являются записки Екатерины; вот очень подробное, с сохранением всего, что́ сколько-нибудь важно, изложение этого рассказа Екатерины.

В ночь с 13 на 14 апреля, около половины второго, граф А. И. Шувалов пришел к великой княгине и сказал, что императрица требует ее к себе; проходя с графом Шуваловым длинный ряд комнат, Екатерина никого не встретила, видела только, что к государыне прошел и великий князь. Екатерина нашла императрицу в большой комнате; против окон стояли высокие ширмы, пред ними — диван; Екатерина думала, что за ширмами И. И. Шувалов, и после узнала, что не ошиблась; но открыто в комнате были лишь четыре лица — Елизавета, Екатерина, Петр Федорович и А. И. Шувалов.

Увидав императрицу великая княгиня бросилась пред нею на колени и стала «со слезами и очень настойчиво» просить отослать ее к родным; государыня хотела поднять ее, но она осталась у ее ног. Императрица казалась более печальною, чем гневной, и со слезами на глазах сказала:

— Как вы хотите, чтобы я вас отослала? У вас есть дети.

— Мои дети, отвечала Екатерина, в ваших руках, и лучше этого ничего для них не может быть; я надеюсь, что вы их не покинете.

— Но как объяснить обществу причину этой отсылки? возразила императрица.

— Ваше императорское величество скажете, если найдете нужным о причинах, по которым я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя, отвечала Екатерина.

— Чем же вы будете жить у ваших родных?

— Тем, чем жила прежде до того, как вы удостоили взять меня к себе.

Императрица сказала:

— Ваша мать в бегах, она вынуждена была покинуть свою родину и уехала в Париж.

— Я это знаю, отвечала Екатерина; ее считают слишком преданною интересам России, и король прусский стал ее преследовать.

Императрица вторично велела Екатерине встать; великая княгиня повиновалась; государыня в задумчивости отошла, потом вернулась к Екатерине и сказала:

— Бог свидетель, как я плакала, когда вскоре после вашего приезда в Россию вы были при смерти больны; и потом, если бы я не любила вас, я бы вас не удержала здесь.

Екатерина на это отвечала благодарностями и сказала, что воспоминание о прошлом не изгладится из ее памяти, и что она всегда будет смотреть как на величайшее несчастие, что заслужила немилость государыни. Императрица, подошедши еще ближе, сказала:

— Вы чрезвычайно горды. Вспомните, как однажды в Летнем Дворце я подошла к вам и спросила, не болит ли у вас шея,—так вы мне кланялись, из гордости ограничиваясь кивком головы.

— Боже, мой, ваше императорское величество! — отвечала Екатерина. Как можете вы думать, что я хотела выказать гордость пред вами! Клянусь, что мне и в голову не приходило, что этот вопрос мог относиться к чему-либо подобному.

— Вы, вот, воображаете, что никого нет умнее вас, сказала императрица.

Екатерина ответила:

— Если бы я думала это, то ничто не могло бы меня так разуверить, как мое теперешнее положение и даже это самое обстоятельство, так как я по глупости до сих пор не понимала, что̀ вам угодно было сказать мне четыре года тому назад.

После этого императрица подошла к великому князю и А. И. Шувалову, беседовавшим вполголоса в стороне, и великий князь, заговорив что-то с императрицей, сказал громко:

— Она ужасно зла и очень упряма.

Тогда великая княгиня обратилась к мужу со словами:

— Если вы говорите это обо мне, то я очень рада сказать в присутствии ее императорского величества, что, действительно, я зла на тех, кто вам советует делать мне несправедливости, и что я стала упрямой с тех пор, как вижу, что мои попытки угождать не ведут ни к чему другому, как к вашей ненависти.

— Ваше императорское величество, заговорил князь со своей стороны, по тому, что́ она говорит, вы видите сами, какая она злая. По замечанию Екатерины, однако, его слова производили на императрицу впечатление неблагоприятное, скорее, для него самого. Императрица вдруг, к великому удивлению Екатерины, повторила великому князю то, что́ она говорила ей о Брокдорфе в полной тайне, а затем «неожиданно перескочила» к сношениям Штамбке с Бестужевым и сказала:

— Сами посудите, как можно его извинить, когда он имеет сношения с государственным преступником? и продолжала: — вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются; я не посмела бы делать того же во времена императрицы Анны. Как, например, посмели вы посылать приказания Апраксину?

— Я? — сказала Екатерина: — никогда мне в голову не приходило посылать ему приказания.

— Как вы можете отрицать, сказала императрица, что ему писали; ваши письма тут, в этой чаше — и она указала на нее пальцем — а вам запрещено писать.

Екатерина отвечала:

— Правда, я нарушила запрет, и в этом прошу прощения;

но так как письма тут, то эти три письма могут доказать, что я никогда не посылала Апраксину приказаний; в одном из них я писала ему, что́ говорят о его поведении...

— А зачем вы это писали ему?

— Просто потому, что я принимала участие в фельдмаршале, которого очень любила. Я просила его следовать вашим приказаниям. В двух других письмах я поздравляла фельдмаршала с рождением у него сына и с новым годом.

Императрица сказала:

— Бестужев говорит, что было много других.

— Если Бестужев это говорит, то он лжет.

— Если он лжет на вас, то я велю его пытать.

По словам Екатерины это было попыткою испугать ее; но она не смутилась и ответила, что императрица вольна делать, что́ ей угодно, но что писем к Апраксину она писала только эти три. Императрица временами задумывалась, временами обращалась к Шувалову, иногда и к великому князю; этот горячился, старался и императрицу, сколько мог, раздражить против великой княгини; иногда отвечала ему и великая княгиня; она замечала, что настроение императрицы становится все благоприятнее для нее; Петр Федорович «так перестарался», что, наконец, императрица приблизилась к великой княгине и, глазами и голосом показывая на других, вполголоса сказала:

— Мне надо будет еще многое вам сказать, но я не стану говорить теперь, чтобы не ссорить вас еще больше.

Екатерина тоже почти шопотом ответила:

— Я тоже не могу говорить, но мне чрезвычайно хочется открыть вам сердце и душу.

Императрица, взволнованная, со слезами на глазах, отпустила всех, говоря, что уже поздно — действительно, было уже около трех часов.

Через несколько минут по возвращении Екатерины к себе, явился к ней граф А. И. Шувалов и, удалив при-

служниц, сказал, что императрица поручила ему просить ее не огорчаться и что у нее будет второй разговор с нею наедине; Екатерина просила передать государыне ее глубокую и сердечную благодарность.

«Этот неожиданный возврат задушевности и доверия императрицы доставил мне большое удовольствие» замечает она.

Второе свидание, тоже обставленное таинственностью, состоялось 23 мая. Граф А. И. Шувалов пришел к великой княгине и сказал от имени императрицы, что Екатерина должна в этот день просить разрешения императрицы навестить детей, и что по выходе от них она будет говорить с государыней. В присутствии многих лиц Екатерина передала Шувалову свою просьбу; он пошел к императрице и, вернувшись, объявил разрешение посетить детей в три часа. Екатерина пришла к детям в назначенное время; вскоре Шувалов пришел сказать, что можно видеть государыню. На этот раз Екатерина застала императрицу одну, и никаких ширм в комнате не было.

Екатерина прежде всего благодарила за согласие ее принять. Императрица сказала:

— Я требую, чтобы вы мне сказали правду на все, что я спрошу.

Екатерина поклялась, что будет говорить одну правду.

Елизавета спросила прежде всего, только ли три письма было к Апраксину.

Екатерина с величайшею искренностью подтвердила это: их и действительно было всего три.

«Затем она стала у меня расспрашивать подробности об образе жизни великого князя»...

— Этими словами обрываются записки Екатерины.

После этих двух бесед, которые были не тайною лишь для очень немногих, все видели только одно: в императорской семье установился мир. Государыня явно выражала

благоволение великой княгине, восстановилось скоро согласие и между великим князем и его супругою. Это были лишь внешние результаты; гораздо значительнее и важнее были последствия отдаленные, проявившиеся не сразу; гораздо серьезнее, чем выходит по рассказу Екатерины, было и содержание бесед.

Сама Екатерина говорит, что ею изложено не все содержание ночной беседы:

«Я передаю», пишет она, «лишь главные пункты длинных разговоров», — и нельзя не заметить, что, прикрывшись таким заявлением, она в повествовании о первой беседе с одной стороны умалчивает кое-что, а с другой — сознательно выдвигает на первый план то, что в сущности большого значения не имело; вследствие этого в рассказе оказываются неясности, кое-что остается даже и совсем непонятным. И все это может быть вполне разъяснено, стóит только допустить одно предположение, не только само собою напрашивающееся, но и подкрепляемое со многих сторон.

В самом деле, если строго держаться рассказа Екатерины, то что же было на этой необычайно таинственно обставленной беседе затронуто особого, такого, что уже десятки раз не могло быть предметом семейных столкновений и споров за те 15 лет, которые жила Екатерина в России. Три письма к Апраксину, и только. Упреки в самомнении и гордости, укоры за неблагодарность, обвинения в злости и упрямстве с этими письмами имеют мало связи, да и высказаны были они в такой сдержанной форме, что представляли положительно пустяки по сравнению с тем, что иногда разыгрывалось при дворе. Когда императрица Елизавета сердилась, она не стеснялась в выражениях своего гнева:

«Я думала, она начнет меня бить», говорит Екатерина, описав одну подобную вспышку, — но никогда не устраи-

вала государыня объяснений в такой таинственной и торжественной обстановке. Да и что такое эти письма к Апраксину? Они были совершенно невинного содержания, в этом не могло быть сомнения. Екатерине, действительно, было вообще запрещено писать какие-либо письма помимо коллегии иностранных дел, и она этот запрет нарушила,— но сколько раз нарушались запрещения императрицы несравненно более важные, кто этого не знал, и кто придавал этому какое-либо значение? Императрица могла за это выбранить великую княгиню, выбранить сгоряча, может быть, и резко, и обидно, могла не говорить с нею, не замечать ее месяц, два, — но и только, этим дело бы и кончилось; со стороны великой княгини совершенно неестественно было из-за них доводить дело до исповеди, а со стороны императрицы — странно устраивать такое необычное объяснение. И если весь разговор из-за писем к Апраксину, то при чем тут просьба великой княгини о высылке заграницу? Неужели возможно было из царской семьи выслать молодую женщину, мать будущего наследника престола, за то только, что она писала старому фельдмаршалу, убеждая его не терять времени и, вполне сообразно с желанием государыни, по возможности энергично атаковать врага?

Есть неясность и в самом разговоре по поводу писем: начинается речь о письмах к Апраксину, потом говорится, будто по словам Бестужева «было много других» — и не видно, других к Апраксину же, или других вообще. Причем тут Понятовский, самое имя которого, по изложению Екатерины, в ночной беседе не упоминалось, тогда как известие о предложении ему выехать и побудило Екатерину добиваться этого объяснения с императрицей? Причем тут, наконец, присутствие великого князя, какие-то его раздраженные заявления, попытки его обвинить в чем то жену в глазах императрицы?...

Пока думать, что на ночной беседе дело шло о переписке Екатерины с Апраксиным, — все это неясно, непонятно; но сразу же все разъясняется, если только допустить, что Екатерина сказала не всю правду, и что в действительности речь шла не о письмах к Апраксину — хотя, может быть, и о них упоминалось, — а что приходилось Екатерине объясняться по поводу того заговора, какой она замышляла с Вильямсом.

В самом деле, императрица в течение всего разговора лишь временами раздражалась, вообще же она была более опечалена, чем рассержена, — и такое настроение ее понятно, если вспомнить, что все расчеты заговорщиков строились на кончине государыни, а Елизавета Петровна так боялась смерти. Понятно, что и записки свои продолжать оказалось для Екатерины особенно трудно, прямо даже невозможно. именно тогда, когда она вплотную подошла к этому эпизоду. Если заговор стал известен, то понятно обсуждение вопроса о высылке великой княгини, понятны упреки ей и в неблагодарности и в чрезмерном самомнении. Письма к Апраксину не имели ни малейшего отношения к «образу жизни» великого князя и, в связи с ними, странно было бы именно таким вопросом начинать вторую, самую интимную, беседу, — данные о заговоре вели к сношениям с Вильямсом, эти сношения объяснялись близостью Екатерины к Понятовскому, а их любовь объяснялась именно «образом жизни» великого князя. Присутствие великого князя, а, особенно, его попытки выставить виноватою Екатерину, всего легче могут быть объяснены именно тем, что речь шла о заговоре, к которому и он, хотя не играл активной роли в его подготовке, имел все же отношение. Есть основание думать, что именно от него исходило вообще раскрытие заговора, а, в свою очередь, признание такого факта вносит некоторые объяснения.

Мы уже знаем, что весною 1758 г. Екатерина сожгла все свои бумаги, — и, действительно, из всего, ею до того времени написанного, уцелели лишь та редакция записок, которая была составлена в 1756 или 1757 гг. повидимому — для Понятовского и была, почти наверно, некоторое время в руках Понятовского, да именно те три бумаги, которые, имея отношение к заговору, составлены были для великого князя и должны были находиться у него — «наставление», проект манифеста и клятвенное обещание. Следовательно, они, во всяком случае, могли быть поводом к раскрытию заговора; вместе с тем, если они именно и послужили нитью, держась которой узнали нечто о намерениях Екатерины, то понятно, почему заговору не было придано более серьезного значения: эти бумаги были наиболее невинны по содержанию из всех других, имевших отношение к заговору: имен тут совсем не было названо, за исключением имени Трубецкого, да и оно было приписано на поле и в предположительном смысле. Если бы попались какие-нибудь другие документы из переписки Екатерины с Вильямсом, дело было бы серьезнее; но Екатерина все сожгла, и когда в руках императрицы были только эти три бумаги, была возможность представить весь этот заговор, как неосновательную, почти глупую мечту.

Предположение, что стали известны бумаги, бывшие у великого князя, вовсе не значит, чтобы необходимо было допускать умышленное предательство со стороны Петра Федоровича; ему было, во всяком случае, даже не безопасно сообщать их: он мог ожидать, что ему самому поставлено будет в вину, что, имея их на руках, он почти полтора года молчал. Есть у Екатерины намек, дающий возможность объяснить, как могли эти бумаги стать известны. В одном отрывке, в котором речь идет вообще о занятиях по голштинским делам, Екатерина рассказывает:

«Брокдорф часто говорил мне об опасных проектах, которые общество приписывало Шуваловым; я пренебрегала этими слухами; он переносил их великому князю, который был ими встревожен и удивлялся, видя меня спокойною, тогда как он считал себя в опасности. Брокдорф советовал мне принять меры, которые он сам подробно излагал, против этих проектов; я смеялась ему в лицо».

С презрением отнесся к нему и Бестужев, у которого Брокдорф тоже заискивал. Тогда он бросился в партию Шуваловых. Когда канцлер был арестован, Брокдорф, будто бы, уверил великого князя, что Екатерина вместе с Бестужевым замышляли заговор на жизнь великого князя, «и я не знаю, еще что», говорит Екатерина.

«Невинность обнаруживалась», продолжает она, — «его высочество в ту минуту, когда думали торжествовать надо мною, примирился со мною».

Верить этому рассказу полностью нельзя: в нем видно то же стремление представить факт, действительно, совершившийся, но представить его в освещении искусственном и в соединении с другим событием, по существу, с ним связанным, стремление, которое наблюдается у Екатерины всякий раз, когда она в своем рассказе подходит к заговору; невозможно, чтобы Брокдорф сам мог заговаривать с Екатериною об угрожающих ей опасностях, да еще навязывать свои планы, как им противодействовать: Екатерина, как это явствует и из переписки с Вильямсом, уже тогда относилась к Брокдорфу с пренебрежением, прямо презрительно.

В ее рассказе есть, однако, зерно истины, и оно, повидимому, в том, что через Брокдорфа стало известно о заговоре. Что Брокдорф чем то исключительным навлек на себя гнев Екатерины, это несомненно; он был единственным человеком, которого коснулось своего рода мщение ее: по вступлении своем на престол она приказала немед-

ленно выслать его из России. Что эта вина Брокдорфа перед Екатериною относится именно к излагаемому моменту, тоже почти несомненно: по словам Екатерины какие то враждебные ей шаги сделаны были Брокдорфом до примирения ее с великим князем, примирения, последовавшего после того, как великой княгине угрожала какая то опасность, но «невинность обнаружилась», — а этому соответствует только рассматриваемый момент: до того в великокняжеской семье не было таких определенных ссор, чтобы после них могло быть и определенное примирение, а когда после рассматриваемого времени снова разошлись пути Петра и Екатерины, супруги более уже не примирялись.

Кажется, надо представить себе такой ход дела: великий князь знал, что Бестужеву кое-что известно о заговоре; в этом у него не могло быть сомнений, хотя бы уже на основании одного того, что «наставление» предлагало ему немедленно вызвать канцлера и явно давало понять, что никакого противодействия со стороны канцлера не будет. Когда Бестужев был арестован, трусливый великий князь, естественно, перепугался, полагая, что это приведет к раскрытию и заговора; а так как он, по замечанию Екатерины, был столько же способен скрывать свои тайны, сколько пушка свой выстрел, то в минуты его тревоги легко мог у него выведать ее причину Брокдорф; явно презираемый и неоднократно оскорбленный великою княгинею, он пожелал воспользоваться случаем ей повредить, — и тогда дело пошло далее...

Такими событиями были ознаменованы те четыре года в жизни Екатерины, которые здесь рассказаны. Ряд фактов, начавшийся с увлечения несчастной в супружестве молодой женщины, путем довольно сложных сцеплений привел к моменту глубокого значения. Екатерина, давно блистав-

шая при дворе, питавшая обширные замыслы, слышавшая столько похвал своим талантам, в данный момент счастливая в своей привязанности, — была уличена в поступке, за который грозила серьезная кара; и теперь, не имея оправданий, униженно стояла пред тою женщиной, которая так долго в ее глазах была мишенью для насмешек, а теперь являлась полновластною вершительницею ее судьбы; эта женщина была самодержавною императрицею и имела все поводы быть очень раздраженной. Но столкнулись здесь не две заурядные личности, а две натуры крупные — и столкновение их разрешилось не просто мелкою личною ссорою, кое-как заглаженною и затушенною, а достойным их образом: Елизавета, дочь Петра, как натура крупная и женщина по существу не злая, осталась доступна благородным чувствам. Она не забыла, что если при Анне Иоанновне она не смела делать того, что̀ задумывала Екатерина, то при Анне Леопольдовне она на это решилась; сама пережив тяжелую молодость, она поняла душевное состояние Екатерины, поняла драму ее жизни, — и ту, которая толкнула ее в объятия Понятовского, и ту, какую она переживала в эту минуту; а, поняв все это, Елизавета простила Екатерину искренно и вполне и стала к ней сердечнее и добрее, чем прежде.

Со своей стороны и Екатерина тем, как пережила этот момент, и какой вынесла из него урок, показала, что и она личность крупная и глубокая. Претерпев унижение, которого не могла, по совести, считать не заслуженным, Екатерина не озлобилась, а возвысилась и впоследствии снисходительность, мягкость, нетребовательность, готовность ценить всякое достоинство и прощать все простительное проявляла она в такой степени, какой трудно было ожидать от избалованной и довольно пустой великой княгини, и этим вызывала искренний восторг ее почитателей и невольное удивление ее недругов и порицателей.

Замечательна и делает Екатерине честь уже одна перемена ее отношений к императрице Елизавете: в 1756—1757 гг., будучи великою княгинею и подвергаясь некоторой опасности серьезно поплатиться за свои слова, Екатерина говорила об императрице непочтительно, иногда прямо грубо, — а потом, ставши сама самодержавною государынеи и имея полную возможность проявить свое нерасположение к своей предшественнице, она никогда не выражалась об Елизавете Петровне хотя бы приблизительно с такою резкостью, с какою говорила прежде.

Но вынесла Екатерина из тяжелого урока и еще нечто, гораздо более ценное и важное. По запискам ее и по корреспонденции с Вильямсом видно, что до этого времени Екатерина обо многом рассуждала, многое представляла себе почти так же, как ее супруг, смотрела не как русская великая княгиня, а по идеям и понятиям своим не возвышалась над массою мелких немецких владетельных особ, тех, которые считали возможным жить иностранными субсидиями или даже и прямо продавать своих подданных в чужие войска, и корону представляли себе не как символ огромной власти и огромной ответственности, а просто как драгоценность, которую при дележе наследства не дурно бы получить, хотя бы и не очень красивыми путями. Теперь Екатерина сознала свою ошибку; она поняла, что если ей суждено стать русскою государынею, то она должна высоко чтить этот сан и думать не о том, как захватить престол, а о том, чтобы быть достойною его. Раньше она, так же, как и ее супруг, готовясь занять открывавшееся перед нею одно из высших в мире положений, считала, что это возможно сделать просто с согласия дворцового караула; о великом труде, который должен был пасть на русского государя, о великой его ответственности она не думала. Теперь в ней проснулись дремавшие силы; в ее лице явился достойный претендент на корону. Оглянувшись после пе-

режитого унижения на свое прошлое, она поняла, как было оно пусто и ничтожно, и нашла в себе силы начать новую жизнь.

Впоследствии Екатерина однажды отозвалась с презрением о людях, неспособных выйти из жалкого круга маленьких идей, который они около себя создали; она отлично понимала, что это значит, так как сама долго жила в таком кругу мелких интересов; но она сумела из него выйти.

С этого момента она решительно разошлась с мужем, потому что он попрежнему ничего этого не понимал; теперь она стала готовиться к власти, отдалась серьезному чтению, стала усиленно работать. Теперь великую княгиню не занимают шалости и детские выходки, те излишние вольности, какие прежде позволяла она себе, то за одно с великим князем, то и без его ведома; пустое времяпрепровождение — наряды, балы, охота, уженье — оставлено; теперь великая княгиня к уединенной работе стремится усерднее, чем старалась прежде быть на виду, блистать и веселиться.

На целые четыре года мы почти теряем Екатерину из вида, — и когда она выступает снова уже как супруга императора, а затем скоро и как самодержавная императрица, в лице ее на историческом поприще является крупная историческая личность, женщина зрелая, с широким умом, с большим запасом идей и знаний, с сильною волею, с редким уменьем выбирать людей и влиять на них, женщина, которая работала неутомимо до последнего дня жизни и царствовала над обширной империей с таким успехом и блеском, какой не выпадал на долю никакой другой правительницы, кроме Елизаветы английской.

СПИСОК

ПОРТРЕТОВ, ПОМЕЩЕННЫХ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ

1. Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Портрет работы G. Grooth. 16

2. Граф Станислав Август Понятовский. Портрет работы L. E. Vigée Lebrun, гравированный J. Klauber'ом (из собрания Русского Музея) 32

3. Великий князь Петр Федорович. Портрет работы G. Grooth, гравированный И. Соколовым (из собрания Пушкинского Дома при Российской Академии Наук) 80

4. Императрица Елизавета Петровна. Портрет работы неизвестного художника, висевший в зале Сената 96

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Сочинения Императрицы Екатерины II. Издание Академии Наук. Т. XII. СПБ. 1907.

Correspondance de Catherine Alexéiewna, grande duchesse de Russie et de Sir Charles H. Williams, ambassadeur d'Angleterre. 1756—1757. Чтения Московского Общества истории и древностей. 1909. Кн. I.

Mémoires du roi Stanislas-Auguste Poniatovski. T. I. St. P. 1914.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 5

Екатерина и Понятовский 7

Английский посол Сэр Чарльз Вильямс. — Граф Бестужев-Рюмин. — Великий князь Петр Федорович . . . 42

Преступные замыслы 86

Ночное объяснение с императрицей 118

Список портретов, помещенных на отдельных листах . 134

Основные источники 134

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

Ленинград, Троицкая 4, кв. 3. Тел. 1-84-61

*

Генри Форд. Моя жизнь, мои достижения. Перевод под редакцией инженер-технолога В. А. Зоргенфрея. Предисловие профессора по кафедре научной организации труда и производства Н. С. Лаврова. Обложка работы М. А. Кирнарского.

Оскар Уайльд. В тюрьме и цепях. Послание. Новое издание «De profundis», дополненное неизданными частями. Перевод и статья профессора М. А. Жирмунского. Обложка работы А. Н. Лео.

Владимир Соловьев. Письма. Под редакцией Э. Л. Радлова. С портретом и факсимиле подписи автора. 1 р. 50 к.

В. А. Теляковский (б. директор императорских театров). Воспоминания. 1898—1917. 2 р.

Почетный Академик Д. Н. Овсянико-Куликовский. Воспоминания. С портретом. Обложка, титульный лист, заставки и концовки работы С. В. Чехонина. 85 к.

Академик С. Ф. Ольденбург. Европа в сумерках на пожарище войны. Впечатления от поездки в Германию, Англию и Францию летом 1923 года. Обложка работы Г. Блока. 75 к.

*

Н. Д. Чечулин. Екатерина II в борьбе за престол. По новым материалам. С четырьмя портретами. Обложка работы В. М. Ходасевич.

Академик С. Ф. Платонов. Прошлое Русского Севера. Обложка работы И. А. Фомина. 90 к.

Академик С. Ф. Платонов. Смутное время. Обложка, титульный лист, заставки и концовки работы Всеволода Воинова. 1 р. 10 к.

*

«Арена». Театральный альманах при участии М. Кузмина, Н. Н. Евреинова, В. М. Бехтерева, В. А. Теляковского, Евг. Кузнецова, Сергея Радлова и Юрия Анненкова. Обложка работы В. М. Ходасевич. 1 р. 60 к.

СКЛАД ИЗДАНИЙ

ЛЕНИНГРАД, Троицкая 4, кв. 3. Тел. 1-84-61

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00044006841